

ВЛАДИМИР БУРТОВОЙ

Волжский роман



Когда куковала
кукушка

Волжский роман

Владимир Буртовой

Когда куковала кукушка

«ВЕЧЕ»

2020

Буртовой В. И.

Когда куковала кукушка / В. И. Буртовой — «ВЕЧЕ»,
2020 — (Волжский роман)

ISBN 978-5-4484-8542-8

Новый роман известного самарского писателя Владимира Буртового рассказывает о драматичных событиях первой половины прошлого века, произошедших на берегах Волги, о судьбе нескольких поколений деревенских жителей, о роде, представителям которого пришлось с малых лет батрачить у зажиточных селян, затем угодить в стремительный водоворот революционной эпохи, пройти Первую мировую, Гражданскую и Великую Отечественную войны. Это подлинная история жизни простого сельского люда, дошедшая до нас благодаря дневникам, найденным в старинном дедовом сундуке.

ISBN 978-5-4484-8542-8

© Буртовой В. И., 2020

© ВЕЧЕ, 2020

Содержание

Часть первая	6
«Не повезло вам...»	6
Наш отец – арестант	12
Каторжанская пара	27
Призывники	40
Белый водоворот	46
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Владимир Иванович Буртовой
Когда куковала кукушка
Роман

*Никто не избежит наказания за несправедливость – если не сам
поплатится за неё, то сыновья, если не сыновья, то внуки.*
Древнеиндийский афоризм

Часть первая «Ты не вейся, чёрный ворон...»

«Не повезло вам...» (вместо пролога)

От нетерпения Чагрину хотелось ёрзать на стуле, как это делает непоседливый ребёнок, когда видит на столе яркие обёртки конфет, но не может достать их, а хозяин дома, будто испытывая его выдержку, открывал сундук не торопясь.

– Сейчас увидите, Роман Антонович, то, ради чего я вас побеспокоил. – Степан Никодимович наконец-то справился с замком, поднял крышку древнего дедовского сундука, склонился над ним огромным колодезным журавлём, начал осторожно что-то там перекладывать. Запахло нафталином, а Роман Антонович и без того всё ещё дурно чувствовал себя и от бессонной ночи: спать пришлось совсем мало, и от трёхчасовой езды в рейсовом автобусе, и особенно от бешеной гонки на самосвале синем, будто кусочек утреннего неба на пыльной просёлочной дороге.

– Умели наши деды делать вещи на века, – заметил Роман Антонович, рассматривая сундук издалека: обшит по углам и крест-накрест металлическими лентами, а доски уже почернели от времени и кое-где на них сохранилась старая тёмно-зелёная краска. На стол, за которым сидел Чагрин, падала его чёткая тень: полуденное солнце через раскрытое окно немилосердно пекло спину, шею и затылок. Пришлось обернуться и левой рукой задёрнуть ситцевую белую штору, и тень на столе пропала.

В телеграмме, которую Чагрин получил вчера от Степана Никодимовича, было всего две с половиной строчки наклеенных слов и ни одного знака препинания: *«Срочно приезжайте бумага есть встретит сын Денис Исаклах самосвалом Степан Влюпков»*. В шесть утра Роман Антонович встал, в семь был на автовокзале, взял билет до Исаклов – счастье его, что был понедельник и пассажиров было мало. У автостанции в райцентре его уже ждал самосвал, а кузов у самосвала – будто большая деревянная ложка с ровно загнутыми бортами. Возле машины стоял стройный подтянутый парень в зелёных спортивных брюках с множеством карманов и с широким коричневым армейским ремнём. Серая лёгкая рубашка с короткими рукавами расстёгнута, видна загорелая волосатая грудь. Парень смотрел в сторону пассажиров, которые расходились от автобуса в разные стороны. Его взгляд остановился на Чагрине, который через пыльную площадь направился в его сторону.

– Вы в совхоз «Заря»? – спросил парень и приветливо улыбнулся, едва Чагрин приблизился на три-четыре шага.

– Да, к Степану Никодимовичу, – ответил он и протянул руку. – А вы – Денис? Будем знакомы.

Рука у парня крепкая, мозолистая.

– Точно, я – Денис. Хорошо, что автобус не опоздал, мне к двум часам надо выехать в поле, навоз вывозить с фермы. Покрепче прихлопните дверцу и держите портфель, полетим с ветерком да с пылью. Дорога грунтовая, не то что асфальт. Ну, с Богом!

От этой езды в памяти осталось не много. Он больше следил за дорогой, стараясь угадать, где их тряхнёт в очередной раз. И теперь в минуту ожидания в памяти всплывали то кусок поймы реки Сок, то пёстрое стадо коров на всё ещё зелёном заливном лугу. А берега такие разные. Высокий и лесистый был тот, противоположный правый, а этот, вдоль которого они ехали, низкий и местами заболоченный. Вода в старицах казалась густо заваренным чаем. И

отражения деревьев в чёрной воде были чёрными и неподвижными. То вспоминалось небольшое село с колодцами и «журавлями» над ними, а возле колодцев почти везде стада ленивых гусей, и земля вокруг колодцев в грязных гусиных перьях, крупных и мелких. Иногда проезжали мимо каких-то строек, и Денис охотно пояснял:

– Это третье отделение нашего совхоза. Смотрите, вот за теми ивами, недалеко от оврага, новый клуб строят. Из белого кирпича. Вчера начали строила возводить под крышу, а рамы в окна сегодня привезут. К осени непременно на танцы нагрянем с ребятами.

Роман Антонович успел мельком глянуть на загорелое сухощавое лицо парня, на склонённую вперёд голову с тёмно-русыми зачёсанными назад волосами, на поджатые губы: дорога пошла совсем никудышняя, и Денис теперь – само внимание. Но больше всего Чагрина поразили руки, вернее, кисти рук – широкие, длиннопалые, они крепко держали «баранку» мощного ЗИЛа и ловко, будто без всякого усилия, вращали её то вправо, то влево.

– Вы к нам надолго? – спросил Денис и притормозил. Зашипел воздух, вырываясь на свободу где-то под машиной, самосвал уточкой перевалился с бока на бок и преодолел очередной пологий суходол, который пересекал поле, уходя влево к реке.

– Не знаю ещё, – ответил Чагрин и расслабил ноги, перед этим упирался в пол кабины, чтобы не болтаться на сиденье. – Всё зависит от того, что за бумаги ждут меня у твоего отца.

– А вы поживите у нас подольше. В эту субботу погуляете у меня на свадьбе!

– Вот оно что! – Чагрин увидел, как широко раздвинулись губы парня, а глаза засияли зелёным светом. – Уже подали заявление?

Денис тряхнул головой.

– Нет. Я и отцу об этом ещё не говорил.

– Вот так сюрприз! Почему не предупредил заранее? Ему приготовиться надо.

– Потому и не говорю, что начнёт собираться, волноваться до срока. На днях, а может, и сегодня, скажу. Да он не будет против моего выбора, я уверен. Он мою невесту почти каждый день видит на ферме или на Доске почёта. Доска висит возле конторы совхоза. Её нельзя не видеть, – добавил Денис, имея в виду, конечно, свою невесту.

– Красивая?

Денис чуть-чуть выдвинул нижнюю губу, как бы говоря: «Ещё бы!» – а потом ответил:

– Очень. Она самая красивая. А какие у неё ямочки на щеках! Честное слово, не вру. – Он повернул голову вправо, проверяя, не смеётся ли гость?

Роман Антонович не смеялся, сам когда-то переживал подобную неделю ожидания.

– Счастья тебе, Денис, полный кузов, – и Чагрин слегка пожал обнажённый правый локоть парня.

– Спасибо. Мы с Катюшей счастливы. Только вы не говорите отцу, ладно? Обидится, что не от меня первым узнал, а от вас.

– Договорились, буду молчать, как белорусский партизан!

Самосвал выехал на перекрёсток просёлочных дорог и свернул вправо, вдоль молодой и уже местами чуть пожелтевшей лесопосадки, а когда проехали мимо чьей-то могилы, там слева от дороги, за чёрной металлической оградой, Денис нажал на кнопку сигнала. С оградки тут же поднялись две юркие трясогузки.

– Дедушка мой здесь похоронен, – пояснил Денис.

Чагрин успел разглядеть красную звезду на пирамидке и крутой спуск вниз к широкой пойме – там, как два огромных чёрных жука, в клубах серой пыли шли навстречу друг другу трактора – зябь уже поднимали.

Проехали мимо этой могилы и взобрались на склон холма, а с него открылся вид на совхоз: длинные крытые новым шифером свинофермы на переднем плане и рядом большие светло-жёлтые стога соломы. Чуть дальше машина проехала тихим ходом вдоль мастерских,

во дворе которых стояло десятка два коричневых комбайнов, и механики в синих спецовках сустились около них.

– Техосмотр проводят, – пояснил Денис и правой рукой указал на белое кирпичное здание около водонапорной башни. У зелёного из штaketника палисадника на высоком алюминиевом шесте трепыхался на лёгком ветру красный флаг и видна была просторная застеклённая Доска почёта с фотографиями.

– О, батя уже поджидает нас, вон, впереди слева, у раскрытой калитки. – И Денис плавно притормозил самосвал.

Наискось от конторы через улицу, заросшую вдоль плетней муравой, рядом с кустами сирени стоял рослый широкоплечий мужчина. Увидев самосвал, он неторопливо взъерошил густые с сединой волосы, сделал несколько шагов навстречу приехавшим. Шёл, заметно припадая на правую ногу. Чагрин вылез из кабины, и земля под ним закачалась, словно ступил он на кочки зыбучего болота и вот-вот провалится в жуткую преисподнюю.

– Прибыли благополучно? Вижу, заматал вас этот лихач. – Мужчина протянул Роману Антоновичу руку. – Добро пожаловать, рад вас видеть. Представляюсь: Степан Никодимович Влюпков.

Чагрин ответил на приветствие. Влюпков повернулся к сыну, который так и не отошёл от самосвала:

– Ты свободен, сынок. Езжай на ферму, звонили уже оттуда. – Взял Чагрина под локоть, посмотрел сверху вниз, спросил: – Как же вы меня нашли? По фотографии вашего деда, там был мой отец? Интересно. Ну да, об этом потом поговорим подробно.

– Рука у вас, Степан Никодимович, на зависть, – не утерпел Чагрин, чтобы не заметить. Хозяин повертел правую руку, потом махнул небрежно:

– Это что... Вот у моего отца была ручища! Под стать лопате для уборки снега! Не зря старики и по сию пору вспоминают, что против Никодима Влюпкова на кулачке никто не стоял более пяти секунд! В плечах отец был не так уж и широк, но ростом в два метра, или чуток боле того. И жилист – страх! Бывало, помню, пацаном я был ещё, разделенется отец, заставит поливать на спину из ведра, а тело – одни рёбра и сухожилия. Зато мышцы, будто канаты по телу перекручены. Силён был отец, – повторил Степан Никодимович, спохватился: – Ну что же мы стоим на улице, идёмте в комнату, там и закусим с дороги чем бобыли богаты. Мы ведь с сыном вдвоём обитаем. А перекусивши, поищем то, ради чего вы приехали. Я, признаться по совести, не думал, что вы вот сразу же с ночи и поедете. Просто на всякий случай Дениса послал...

И вот теперь, перегнувшись над сундуком, Степан Никодимович осторожно перебирал уже на самом дне что-то из белья, потом пробормотал:

– Наконец-то. Фу, задохнулся чёртовым нафталином. – И вытащил старую полевую сумку с тонким ремешком. Осторожно прикрыл крышку сундука, прошёл к столу. Загорелые с серебристыми волосами руки заметно дрожали, когда расстёгивал кнопки и доставал из отделений две толстые тетради, листов до ста, в коричневом клеёнчатом переплёте.

– Текст сохранился хорошо. Отец писал химическим карандашом. Где бумага и отсырела малость, там слова проявились ещё лучше. Только после войны я узнал, о чём по вечерам отец писал в эти тетради. Мне не показывал, отговаривался: «Потом считаешь, как придёт пора». Сумку носил с собой всегда, до последнего часа. С мёртвого и сняли. Это просто чудо, что тетради снова у меня.

Чагрин осторожно, словно дорогого хрустальную вазу, взял тетради и положил перед собой, не решаясь открыть и прочесть первые строки. Найдёт ли то, что думал найти вот уже столько лет поисков? Найдёт ли сведения о своём деде Андрее? Степан Никодимович на какое-то время задумался, полусогнувшись над столом, спросил:

– В двух словах, Роман Антонович, как вышли вы на след моего отца? Что послужило толчком? – Он опустил на полированный коричневый стул, сложил руки на столе, сцепив пальцы, то и дело поджимая и выпрямляя их.

– Если в двух словах, то это выглядит так, – начал рассказывать Чагрин, поглаживая шершавые обложки тетрадей. – У меня сохранилась старая фотография за тысяча девятьсот семнадцатый год. На ней группа пугачевских активистов местной власти, в том числе и мой дед Андрей Васильевич Крылов. Они читают «Самарскую газету». На обороте несколько пропавших от времени фамилий. Но одна из них довольно чёткая: «Н. Влюпков». И вот, когда вы на днях по телевизору рассказывали о делах в совхозе, диктор представил вас. Вы знаете, во мне будто пусковое реле сработало! Я к той фотографии уже с десятков лет не притрагивался. Вот и думается мне, не был ли и ваш отец вместе с моим дедом Андреем в тамошних боях с казаками атамана Дутова в заволжских степях?

Степан Никодимович поднёс сцепленные руки к губам, подул в большой кулак, вдруг выпрямился на стуле, потёр полированную крышку стола, крикнул с досады и прокашлявшись, сказал будто охрипшим голосом:

– Не повезло вам.

– Не повезло? Почему, Степан Никодимович?

– «Н. Влюпков», – пояснил он, – это Николай Влюпков, родной брат отца. Он действительно работал в уездном городе Пугачёвске, хорошо знал Чапаева. И воевал там в восемнадцатом году, потом был в особом отряде Теофила Шпильмана в составе четвёртой армии командарма Авксентьевского. Занимались ликвидацией мятежных банд в тылу Восточного фронта. Погиб в начале марта двадцатого года, когда в наших краях вспыхнул мятеж местного населения против продразвёрстки, возглавили тот мятеж главари организации «Чёрный Орёл-земледелец». Может, знаете что про такое выступление противников Советской власти?

– Знаю... И даже кое-какие документы из архива у меня есть в копиях про это крестьянское восстание.

– Так вот. – Степан Никодимович снова откашлялся, словно ему было трудно всё это говорить, побарабанил пальцами по крышке стола. – Николай погиб в бою с чёрноорловцами. Мой же отец в ту пору был в белой армии, у Колчака.

Слова эти прозвучали для Чагрина так неожиданно, что он едва сдержался, чтобы не встать из-за стола.

– Не может быть... – Роман Антонович смотрел на строгое лицо Влюпкова, увидел грусть в светло-зелёных глазах и глубокие продольные складки на широком лбу. Подумал, что хозяину дома нечасто приходилось в этой жизни делать такие признания.

– Да, Роман Антонович, было и такое в нашей биографии, было... Немало кабинетов прошёл я с допросами... Ну, не будем о прошлом печальном. От него никуда и никому ещё не удавалось убежать. Отец подробно здесь, в тетрадях, описывал. Что ж удивляться, тогда шла Гражданская война, многие братья были по разную сторону фронтов. Вы разочарованы, да? – негромко спросил Степан Никодимович и пытливо посмотрел гостю в глаза.

– Нет, Степан Никодимович. «Разочарован» – не то слово. Просто была надежда найти что-то про своего деда Андрея, а теперь всё снова отодвигается. Но как журналисту-краеведу мне будет интересно прочитать записки вашего отца, тем более что он был по другую сторону фронта, чем мой дед. Я не думаю, что он был идейным врагом советской власти. Не так ли?

Степан Никодимович поспешил заверить гостя в том же.

– Да нет же! Батрак, сын крестьянина, он промышлял отхожим промыслом по городам на Волге, какой из него идейный враг? Темнота мужицкая, вот единственная причина, да обстоятельства часто складывались не в его пользу. Ну да вы сами об этом всё узнаете. Я оставляю вас до вечера. – Влюпков посмотрел на ручные часы «Победа» на новеньком ремешке, поднялся из-за стола. – Пора и мне служебными делами заняться. А вы можете работать здесь,

если душно, то в садике у нас есть беседка в дальнем углу под яблоней «кутузовкой» на свежем воздухе.

Роман Антонович тоже вылез из-за стола, мимоходом глянул поверх шторы на улицу. Солнце светило под острым углом справа, уходя на юго-запад, и его лучи освещали тёмно-зелёные и густые кусты давно отцветшей сирени, а под сиренью копошились, выколачивая блох, две белых курицы с обрезанными для метки хвостами. Они поочерёдно загребали шеями под себя пыльную землю, а потом неистово хлопали крыльями, вращались в тёплых мягких ямках, будто в водяной воронке.

Влюпков накинул на плечи серый пиджак, почистил туфли старенькой щёткой, и они вышли на крыльцо.

– Вам здесь будет удобно читать, – сказал Влюпков и заглянул в глубь сада, где в дальнем левом углу стояла белая беседка, оплетённая широколистым виноградом. – Машины здесь не ходят, с этой стороны, от реки. Захотите перекусить – всё в холодильнике. И диван в вашем полном распоряжении. Чувствуйте себя как дома, а я постараюсь освободиться пораньше.

Степан Никодимович ушёл. Глядя ему в спину, Чагрин с грустью подумал о том, сколько же пришлось этому сильному человеку вынести горя, когда его таскали по разным кабинетам и снимали допросы с пристрастиями? Песчаной дорожкой прошёл в тенистую беседку, сел на скамью, положил тетради на столик, сколоченный из досок, покрашенных белой эмалью. Сразу открывать не стал, не любил в таких делах поспешность, тут требовалось некоторое время для душевного настроя к встрече с прошлым. И не просто с прошлым, а со временем, когда людские судьбы, подобно железнодорожным путям, вначале долго могут идти рядом, а потом вдруг заплестись в такой узел! И как важно потом снова выйти из этого узла на главный путь, не попасть в боковой тупик.

Роман Антонович придвинул к себе тетради. Ему уже не терпелось узнать, в каких же кровавых точках жизни пересекались судьбы людей, чьи пути нашли место на страницах этого повествования. И он поспешно раскрыл первую тетрадь. На внутренней обложке была карандашная надпись крупными ровными буквами: «*Ты не вейся, чёрный ворон*», а чуть ниже прописными буквами было написано: «*Черновик повести о Гражданской войне*». За обложкой было вклеено письмо.

«Степан, сын мой! Не суди строго, с плеча, когда прочтёшь всё это. Не суди за то, каким был, а оцени, каким я стал.

Для чего пишу? Для кого пишу? Чтобы знал ты, сын мой, и дети твои тоже, как трудно далась сельскому люду новая власть. Для вас пишу, чтобы знали правду о Гражданской войне не только по книжкам, кем-то порою придуманным, а от очевидца, отца твоего, а уж меня она ох как помотала по фронтам да по тифозным баракам! Как выжил – ума не приложу. Если бы искренне верил в Бога, то сказал бы, что выжил благодаря молитвам матушки моей, а твоей бабушки Лукерьи Матвеевны. А горько мне стало, сын, что изначально встал я в этой войне не на ту сторону, не с истинными крестьянами за землю и волю мужицкую. А на сторону помещиков и купцов, которых я хорошо помню по самарским лабазам... Виной тому же моя чрезмерная доверчивость „побратиму“, которому дал клятву вечной дружбы. Да ещё из-за темноты, безграмотности проклятой, газеты – и те не мог сам читать, верил чужим словам. Только и видел „радости“, что затрецины от мужиков зобастых, как их называли работяги на волжских пристанях. Тебе легче будет в жизни, сын. Нет, я не обещаю тебе лёгкой жизни, но будет много легче. Ты знаешь грамоту, а вот теперь я отправил тебя в город учиться на агронома, домой воротись учёным человеком. И никакой „крепкий“ мужик не посмеет дать тебе подзатыльник. Теперь наше время, наше!

Стёпушка, хотелось и мне не отставать от новой жизни. После окончания курса ликбеза я много перечитал книжек, и не просто читал, а учился по ним, как по Букварю жизни. Не знаю, может, чему и научился, ты увидишь, потому как старался писать не только правдиво, но и интересно, как в книжке про трёх мушкетёров. Получилось ли? Самому трудно судить, пусть о том рассудят учёные мужи. Ты же не смейся над малограмотным отцом, если где увидишь „красивое“ словцо. Читай, сын, читай и делай выводы о трудности жизни, выводы для себя, но на моей судьбе».

В конце письма стояла дата – 20 февраля 1933 года.

Наш отец – арестант

Я хорошо помню, будто вчера это было, то дождливое весеннее утро мая 1904 года, перед Днём святых Кирилла и Мефодия. Мне только исполнилось девять лет, собственно говоря, с того дня я и могу связывать в некоторой последовательности одно событие за другим.

Накануне вечером мама долго лежала в постели, а бабка Куличиха, по-деревенски так звали её, сухонькая, с длинным волосатым подбородком, горбоносая, суежилась возле неё, морщинистой рукой выпихивала отца, который принарядился в единственную у него белую расшитую рубаху навывпуск. Бабка не пускала его в ту комнату, где лежала мама.

– Потом, родименький, потом. – Куличиха чуть-чуть приоткрывала впалые, иссечённые морщинами чёрные губы – у неё давно уже не было зубов. А мне на всю жизнь запомнилась её чёрная, будто в саже, рука на белой отцовской рубахе.

Под утро нас с братом Николаем разбудил громкий детский крик. Мы вскочили было на ноги, но отец – похоже, что он так и не спал этой ночью, – шумнул на нас, и мы затихли на печке, прижавшись спинами к тёплому дымоходу. Вслед за криком из двери вскорости появилась вспотевшая и вконец уставшая бабка Куличиха.

– С дочкой тебя, Иван, со здоровой и певучей дочкой! Теперь можешь идти к своей Лукерье Матвеевне, теперь можно. – И восьмидесятилетняя, всё ещё проворная бабка осторожно присела на лавку под занавешенным окном.

Ближе к обеду в жарко натопленную комнату вошёл Анатолий Степанович Артюхов, сельский учитель. Тогда ему было немного больше тридцати, он сильно хромал на левую ногу, она у него была почему-то вывихнута носком влево. И ещё он носил пенсне на беленькой цепочке.

В Подлесках он появился недавно, приехав с Украины, только мы слышали, как однажды учитель говорил отцу, что живёт у нас не по собственной воле, его жандармы поселили у нас под крепким присмотром властей. Любил он, прищурив близорукие глаза, рассказывать мальчикам про старину, про русских полководцев, которые прославили Россию среди иных дальних народов. Но ещё больше любил вечерами у реки над костром варить раков и рассказывать о вольных запорожцах славного вояки Тараса Бульбы или про мужицкого царя Емельку Пугачёва.

Вошёл Анатолий Степанович бесшумно, на ногах у него были белые шерстяные носки, а сапоги он скинул в сенцах, чтобы не принести грязи с улицы после вчерашнего дождя. Отец для вида поворчал на него, потом пожал руку учителю. Анатолий Степанович тут же через открытую дверь прокричал в боковушку:

– С благополучием вас, Лукерья Матвеевна! – а потом и нам с Николаем улыбнулся, подмигнув добрыми светлыми глазами. Когда он улыбался, то в уголках глаз собирались длинные прямые морщинки. – Договорился я, Иван, насчёт твоего сынишки. Берут его Епифановы в подпаски.

Мы с Николаем переглянулись – о ком это говорит учитель? Если о Николае, то как его школа? Я тогда в школу не ходил, не хватало отцовского заработка учить обоих. Отец нанимался по деревням рыть колодцы, да не в каждом дворе их роют. Сколько поставит сход села, на столько и подряжался отец. Ещё у отца была лёгкая верная рука, и его часто приглашали резать свиней, с одного раза страхи животного кончались.

Учитель прошёл к печке, положил руку мне на голову, наклонился совсем близко, и я увидел, какие у него за стеклом большие и синие глаза. Анатолий Степанович ткнул Николаю указательным пальцем в бок и спросил:

– Ты помнишь, дружок, какие стихи недавно мы читали у Некрасова?

Николай растерялся, будто перед школьным инспектором, захлопал глазами, но учитель тихо рассмеялся, сам напомнил:

– Понятно, не совсем ещё проснулся. «Полно, Ванюша, гулял ты немало, пора за работу, родной». – Анатолий Степанович помолчал немного, взял меня за подбородок мягкими, не то что у отца, пальцами, приподнял мою голову верх и сказал: – Помоги, Никодим, отцу. Николай в люди выйдет, непременно и тебя с сестрёнкой к свету потянет.

Я понял, что это обо мне учитель договорился с богачами Епифановыми, что пришла пора самому себе зарабатывать. Не в диковинку такое было тогда на селе, потому я и ответил, гордясь, что сам учитель хлопотал за меня.

– Колька и Мишка Жабины уже с прошлого лета с Гришкой Наумовым в подпасках у Губаревых, давно не шкродничают по чужим огородам. Пойду и я к Епифановым.

Вот так и очутился я в батраках. Домой приходил затемно, переспать, отца и Николая почти не видел, а года через полтора на нашу семью рухнула, можно сказать, что в полном смысле, с неба, страшная беда. Было воскресенье, за два дня до Святого Кузьмы. Мы с Игнатом Щукиным – Щукиными их звали на селе за то, что у них у всех передние зубы были сильно загнуты внутрь, мелкие и острые – так вот, мы с Игнатом уже подгоняли епифановских коней и коров к селу. Близился закат и вдруг ударил колокол на сельской церкви!

– Батюшки, не пожар ли сызнова? – перепугался Игнатка. Его конопатое после оспы лицо в ужасе скорчилось, посерело: бедные Щукины уже на моей памяти горели один раз.

– Да нет же! Смотри, село насквозь видно, а дыма нет нигде! – успокоил я Игнатку. Мы остановили коней на правом крутом берегу реки Сок, неподалёку от брода. За бродом густо рос лозняк, стояли вековые осокоря и вётлы, потом простиралась длинная и широкая пойма, а уже потом лежало, как на ладони, наше село вдоль левого берега.

– Игнатка, ты попридержи табун здесь, а я мигом слетаю в село узнать, что там за сполох, и мигом назад! – меня распирало любопытство: зачем ударили в колокол, зачем созывают сельчан на сход? Игнатка недолго думал, потом попросил оставить ему мой длинный из ремня кнут с конским волосом на конце и согласился постеречь коней один, но недолго.

Народ собрался не около волостного правления, как обычно, а перед церковью. На чьём-то квадратном столе, не сняв сапог, стоял тощий и высокий в гражданском мундире с медными пуговицами чужой человек, наверно, из уездного начальства, нестарый ещё, с закрученными кончиками усов. Он поднял руку, требуя внимания и тишины. Заговорил громко и почему-то сердито:

– Из столицы нами получен царский манифест, и велено начальством прочесть его все-народно! Чтоб, значит, разъяснить, как вести себя впредь. Чтобы жили мирно, по дворам, без преступных бунтов, потому как Его императорское величество уже озаботилось дать народу своему многие права. А ещё государь император соизволил разрешить всенародные выборы в Государственную Думу от всех слоёв населения, а стало быть, и от вас, крестьянства, кого почтёте быть вам полезными.

Я не очень понимал смысл этих слов про Думу, но про бунты в соседних местах и у нас поговаривали, особенно после того, как прознали от Анатолия Степановича. Однажды я даже подслушал, как он тихонько говорил отцу:

– Ты, Иван, обойди по соседям, будто насчёт колодцев поговори, а тем часом листовки про «Потёмкина» верным мужикам разнеси. Пусть знают, что и армия поднимается совместно с народом поменять власть царя на народную власть.

Такое обращение с царём тогда меня сильно испугало. Я думал, что отец начнёт спорить с учителем в защиту далёкого, Богом данного народу императора. Но отец молча кивнул головой в знак согласия, а после этого недели две где-то пропадал, когда вернулся, принёс немного денег – в каждом селе ему удалось договориться о рытье колодцев.

Вокруг меня народ дружно прокричал «Ура!». Чуть утих этот крик, кто-то из толпы выкрикнул:

– Читай манифест, ваше благородие! Послушаем, что в ём прописано, какие-такие свободы царь жалуёт мужикам! Я бы очень хотел улететь отсюда на Луну, дозволяется ли такая вольность?

Под смех толпы это благородие ловко выдернуло из внутреннего кармана мундира свёрнутый листок бумаги, развернул и нараспев, как наш поп Афанасий молитву, начал читать:

– «Октября семнадцатого. Манифест. Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского государя неразрывно с благом народным и печаль народная его печаль. От волнений, ныне возникших, может возникнуть глубокое нестроение народное и угроза целостности и единству державы нашей... – Начальник сделал маленькую паузу и продолжил читать дальше: – Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и власти нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты. Повелев надлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка...»

– Казачками! – выкрикнул вдруг чей-то звонкий и злой голос из толпы.

Все разом вздрогнули, начальник запнулся на слове «беспорядка», покраснел, но сдержался и продолжил читать:

– «Бесчинств и насилий, в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга...»

– Жандармами! – снова раздался тот же, но теперь насмешливый голос.

Мужики вокруг зашумели, кто в поддержку кричавшего, кто требовал тишины, чтобы дослушать манифест до конца. Из остальных слов я только и понял, что царь дарует какие-то «незыблемые» основы свободы, что теперь можно говорить про что хочешь и собираться на собрания в сёлах и городах.

Кончив читать, начальник спросил, есть ли вопросы, но мужики молчали, будто оглушённые мудреными непонятными словами, а начальник поспешил уехать на тарантасе в соседнее село. И тут вдруг на стол вскочил молодой не знакомый мне человек в городской с железными пуговицами в два ряда шинели. Кто-то рядом прошептал: «Студент это, из Самары». Студент сдёрнул с головы казённую фуражку, тремя пальцами правой руки погладил русую макушку и громко заговорил:

– Граждане крестьяне! Вы только что слушали царский манифест! Этот манифест мы вырвали у правительства в жестокой борьбе, этот манифест нам в награду за тяжкие годы тюрем, этапов и ссылок! Это светлый памятник тысячам жертв, которые наш народ принёс на алтарь свободы! Наконец над нашей многострадальной Родиной взошёл светлый день! Царь дал нам право выбрать своих представителей в Государственную Думу. Наши люди теперь будут создавать законы и следить за тем, чтобы власти на местах выполняли их! Да здравствует свободная Россия, товарищи! Ура!

На этот раз «ура» прокричали громче, а я заметил, что волостной старшина нервно дёргал плечами, сверлил человека в красивой шинели злыми глазами. Рядом с ним сотские переминались, не зная, что им делать, не схватить ли агитатора да не препроводить ли его в «кутузку»? Такое было им гораздо привычнее, чем слушать крамольные речи приезжего.

– Это всё хорошо! – неожиданно впереди меня весь в заплатках прокричал Щукин, отец моего товарища Игнатки. – Прошлый год, когда мы уходили на войну с японцами, нам обещали землю дать. Правда, такого вот манифеста нам не зачитывали, но разговор в народе был, что

после войны всем участникам, особенно раненым, непременно дадут. Зря, что ли, моя кровь на чужбине была пролита?

– Верно, был такой слух! – зашумели мужики. – Ты нам, студент, растолкуй, как же так, в манифесте царском ни словечка про землю не сказано?

– Я так думаю, – несколько смешавшись, ответил студент. – Государственная Дума непременно будет рассматривать вопрос о земле, разработает законопроект, и правительство вынуждено будет утвердить его как волю народа.

– Когда же это будет? – Я узнал голос Анатолия Степановича и стал искать его глазами. – Когда, может, завтра? – Слева от меня мужики зашевелились, там учитель пробирался к столу.

– Когда пройдут выборы, тогда и... – начал было пояснять студент.

– Вот-вот, – перебил его учитель насмешливо. – Улитка едет... Когда-то она доползёт до Государственной Думы, когда-то Дума разродится земельным законом, когда-то наш государь его сто раз отклонит по настоятельным просьбам помещиков, а мужики всё будут радоваться свободе, равенству, будут судачить на сходках и батрачить на чужих десятинах земли, чтобы хоть как прокормить себя и своих детишек.

– Смотри-ка, учитель влезает на стол! Неймётся поднадзорному. В сибирскую ссылку вознамерился переехать под конвоем! – зло выкрикнул неподалёку Спиридон Митрофанович Епифанов, мой хозяин. Когда он бородой вперёд просунулся совсем близко к столу, я не приметил.

– Граждане крестьяне, – поблескивая стёклами пенсне – солнце светило ему в лицо – заговорил Анатолий Степанович, – вот вам и свобода, вот вам и равенство. Можете намазывать это на ржаной сухарь. А про землю не спрашивайте, земля нужна самому царю да его министрам – землевладельцам да помещикам, которые сами не ходят босыми ногами за сохой, а живут богато. Позвольте, однако, у вас спросить, может ли быть равенство между людьми, если у одного земля, а у другого только руки да ноги босые? Если у княгини Дашковой, у самарских богачей Чемодурова, Шихобалова и им подобных тысячи десятин, а у вас её нет? Если за аренду год от года принуждают платить больше и больше? Хороша ли вам такая свобода?

– К едрене фене такую свободу! – ругнулся Лука Щукин. – У меня этакой свободы в пустом чулане невпроворот!

– И я так думаю, мужики, – подхватил Анатолий Степанович. – Настоящую свободу вместе с землёй можно завоевать только в борьбе с правительством, помещиками, фабрикантами и полицией.

– Вы, социал-демократы, только и ждёте случая снова толкнуть народ на самоубийство! Забыли про Кровавое воскресенье? – закричал вдруг студент, размахивая руками перед Анатолием Степановичем.

– Нет, не забыли, – ответил учитель. – Не только помним, но и научились кое-чему. Вы же, социал-революционеры, похоже, готовы годами просиживать в Думах, поближе к власти, готовы ещё веками ждать. Над вами, выходит, не капает.

– Манифест – первый шаг к свободе, – горячился студент. – За ним непременно последует второй...

– Да, последует, но не такой, какого вы ждёте. Второй шаг будет с солдатскими штыками и казачьими нагайками. – Анатолий Степанович отвернулся от студента. – Попомните, мужики, моё слово. Не возьмёте землю сами, своей волей, не видать вам её, как своих ушей!

Сход зашумел разноголосыми криками, всяк кричал о своём, пока коренастый Епифанов не перекрыл всех своим рыком:

– Тихо вы, баламуты! Я вот погляжу – вы оба «социалы», а толкуете по-разному. Один ждать. Другой брать. И ждать – плохо, и брать боязно. Так как же нам быть, научите уморазуму.

– Нечего ждать! – закричал Щукин. – Осиновские уже тронулись к имению княгини. Там нашего добра немало скопилось. Годами там наши арендные рублики один на другой стопочками складывались. Не пришла ли пора поделить всё по совести, и нам и княгине на пропитание?

– Вот! – снова выкрикнул и кулаком потряс над головой Епифанов. – Это голос народа, идёмте все за этим голосом. Нам ждать далее не резон, будем ловить свою рыбу, пока водица изрядно мутная!

Мужики загудели разом, ещё учитель что-то говорил им, поворачиваясь на столе, но они поспешили с площади в разные стороны к своим домам. Епифанов обернулся, увидел меня, сверкнул злыми глазами.

– Ты чего, голодранец, вертишься здесь? Где табун оставил?

Не успел я ответить, как от крепкого подзатыльника с головы слетела старенькая фуражка с ломаным картонным козырьком. Не ожидая повторной затрешины – только и успела мелькнуть обидная мыслишка; «Вот тебе и свобода, голодранец!» – я метнулся к Орлику, мигом взлетел на его широкую и тёплую спину, ногами ударил под бока и погнал к броду. Через полчаса табун был на подворье моего хозяина. Здесь уже стояли две запряжённые телеги, в одну садился Спиридон Митрофанович. Он молча указал мне на место возчика, рыкнул в тёмный проём сенцев:

– Фёдор! Где ты там застрял, увалень непутёвый?

На окрик выбежал, что-то дожёвывая, старший сын хозяина, пучеглазый в отца, с крупным мясистым носом и толстыми губами, которые он вечно жевал.

– Чё, батя? – поспешил переспросить Фёдор, застёгивая пуговицы тёплого кафтана.

– Сколько ждать можно? – проворчал хозяин. – Мужики порешили разорить имение старой княгини. На этом деле можно под шумок недурно руки нагреть, если всё сделать с умом. А ты чего рот разинул? – окликнул Спиридон Митрофанович меньшого сына, Климку. – Залезай к Фёдору. Да не зевайте там у меня, не на поминки едем!

Епифанов ткнул мне в спину кулаком, и я легонько хлестнул плетью коня. Мимо нас промелькнуло встревоженное лицо сухощавой, с дорогими серьгами в ушах Анфисы Кузьминичны, мамыши Клима и Фёдора, когда она поспешила отворить ворота. Телеги затарахтели по опустевшей пыльной улице мимо притихшей каменной церкви и выехали в степь за окраину села. Впереди нас уже пылили не менее десятка телег, нас обгоняли верховые. Двое из них – тощий вороватый лавочник Жугля со своим сыном Мишкой. За спиной старшего Жугли болталось тульское ружьё. Мишка, прозванный Шестипалым – у него на правой руке рядом с указательным пальцем выросла култышка без ногтя – увидел нас с Климом успел прокричать:

– Кто вперёд, тому мёд, кто позади, тому жабы!

Клим в ответ погрозил Мишке кулаком, а Спиридон Митрофанович гаркнул из-за моей спины на коня:

– Ну-у, мёртвая! – А потом и на меня крикнул: – Ударь хорошенько, спишь, что ли?

Я гнал жеребца в темневшую уже даль степи, где за барским лесом стояло богатое имение старой княгини Дашковой. Саму княгиню редко приходилось видеть крестьянам, а управляющего Николая Яковлевича я лично видел не единожды, когда привозил Епифанова по земельным делам: всякую весну мой хозяин договаривался о цене на землю, аренду большими долями, а потом сдавал мужикам пашни и покосы делянками, имея от такого посредничества изрядную прибыль. И всякий раз, дожидаясь хозяина, я подолгу стоял с открытым ртом и смотрел, как по застеклённой веранде усадьбы верхом на деревянной белой лошадке катался голубоглазый, чистенький и причёсанный сынишка управляющего Павлик. Лошадка стояла на зелёной доске, а под доской было четыре небольших красных колёсика. Отталкиваясь ногами от пола, Павлик то и дело появлялся в дверном проёме веранды, с пренебрежением поглядывал в мою сторону. Наверно, мои помятые и заштопанные на коленях штаны, не совсем све-

жая рубаха внушали ему отвращение. А мне так хотелось погладить блестящую, будто стеклом политую, шею деревянного коня, но попросить об этом не смел, знал, что непременно откажут и прогонят с веранды. И вот теперь где-то в глубине души зародилось смутное желание ещё раз увидеть эту чудесную игрушку. А может, удастся притащить её домой и покатать маленькую сестрёнку. Барским детям, наверно, надоело с ней играть.

Мы оказались не первыми, кто напал на имение, вокруг просторного двухэтажного дома сгрудилось до полусотни телег, в том числе и из соседних сёл и деревень. В наступивших сумерках по чистому выметенному двору, по дорожкам, посыпанным речным песком, металась тёмные фигуры, слышались крики, звон битого стекла, чей-то дикий от страха вопль и ржание сбившихся во дворе коней. На фоне тёмного уже неба чётким белым квадратом выступал фасад дома с колоннами у подъезда с освещёнными окнами. Одно из окон с треском распахнулось, в его квадрате возникла фигура лавочника Жугли и крикнула:

– Мишка, лови! – И тут же из окна полетел белый узел, который мягко, словно тугое тесто, шлёпнулся на землю.

– Фёдор, за мной! – позвал хозяин старшего сына, вынул из-под сена топор и побежал к дому. – Сидите здесь! – только и успел строго приказать нам с Климом Епифанов. Клим тут же перелез ко мне в телегу, с испугом проговорил:

– Жуть какая творится! Народищу тьма. Все что-то тащат, ломают.

Из распахнутых ворот конюшни выводили породистых лошадей, привязывали к телегам, уже у кое-кого мычали и рвались с привязи коровы, перепуганные овцы не закрывали рты, дёргались, норовя сорваться с привязи и бежать в ночь куда и глаза почти ничего не видят.

– Что-то бати долго нет, – заволновался Клим, шмыгнув носом, а я тут же решился и поднялся на ноги.

– Ты покарауль телеги, я обернусь мигом!

– Никодим, ты куда? – услышал я за спиной крик Клим. Но не оглянулся.

– Где-то на веранде, наверно, или в детской комнате вверху, – подумал вслух я о деревянной лошадке на красных колёсиках. Вместе с чужими мужиками вбежал на веранду, меня грубо отпихнули от двери, и я торопливо зашарил руками под обеденным столом, на котором валялся разбитый цветочный горшок: куча земли да черепков, да ещё измятое растение с синими полевыми цветочками. Лошадки здесь не было. – Конечно, в детской комнате, – решил я. – Барчук к себе забрал на ночь.

Со страхом переступил порог чужого, прежде неприступного дома, превращённого осмелевшими мужиками в разгромленный хлев. Никого из большого семейства управляющего. Ни слуг или работных людей не было видно. Наверно, разбежались в тёмном саду и попрятались там, от греха подальше.

– Ты чего здесь? – прокричал где-то сбоку Фёдор, и я мигом обернулся. Тот, обхватив руками, бережно тащил что-то перед собой, увязанное тугим узлом, из которого торчал край белого: то ли вазы, то ли подсвечника с какими-то узорами.

– А, чёрт, – озлился Фёдор на крепкий толчок бородатого мужика в спину, и они разбежались: мужик в дом, Фёдор из дома. Я побежал за бородатым по ступенькам на второй этаж, с кем-то столкнулся, отлетел к стенке, устоял на ногах и поспешил по длинному коридору. Вот какая-то приоткрытая дверь. Толкнул её и замер в столбняке!

Спиной ко мне оказался полусогнутый в поясе Спиридон Митрофанович. Тяжёлым топором он крушил закрытые ящики полированного буфета с узорчатыми дверками, открывал ящики один за другим, что-то звенящее рассовывал по карманам, что-то выбрасывал себе под ноги. На пол упала белого металла ложка, глухо стукнула и отскочила в сторону на полшага. Епифанов тут же наклонился поднять её и увидел меня.

– Никодим? – почему-то шёпотом спросил Епифанов и тут же с испугом обернулся в сторону дивана у противоположной стены. И я тут же посмотрел в том направлении: прива-

лившись спиной к опрокинутому плетёному креслу, полулежал седой управляющий. Его аккуратно подстриженная голова с открытым ртом смотрела на меня, а из-за спины на крашенный жёлтый пол стекала густая кровь.

– Это не я его срубил, – заторопился пояснить, словно оправдываясь, Спиридон Митрофанович. – Осиновские мужики прежде меня в столовую вбежали, он хотел скрыться от них, а они его и порешили, бедолагу...

Но я уже ничего не слышал от ужаса. Как только до сознания дошло, что на меня смотрят не спокойные, а мёртвые глаза, я напрочь забыл, зачем вошёл в дом, с трудом сдерживая подступившую к горлу тошноту, метнулся прочь в коридор. Плутая по комнатам, миновал второй этаж почти до конца, проскочив и детскую комнату с маленькой разорённой кроваткой, а как очутился снова в телеге, долго не мог вспомнить. Помню только, что Клим спросил меня о чём-то, но тут рядом упал в телегу Епифанов, сам взял вожжи и крикнул Фёдору:

– Давай ходу! Видишь, запалили усадьбу? Часом сюда нагрянут казаки, учинят разбор всем, кого изловят!

Усадьба загорелась с тыльной стороны, с крытых соломой пристроек, где жила прислуга, а когда мы подъехали к мосту через тёмную реку Сок, зарево за нашей спиной уже полыхало во весь небосвод, словно вслед за только что народившимся тощеньким месяцем, который то и дело нырял в быстро бегущие облака, на небо взошла полнотелая луна.

– Что это? – вдруг спросил Спиридон Митрофанович, невзначай опершись рукой на деревянную лошадку за моей спиной. Я пояснил, что давно хотел иметь такую игрушку для сестрёнки.

– Дурр-р-ак! – с презрением протянул он. – Воистину дурак, – повторил он уже спокойнее. – Отца на каторгу хочешь отправить? Завтра же жандармы обыщут окрестные сёла и деревушки подчистую, найдут эту игрушку и сволокут отца в казённый дом, а оттуда прямая дорога в Сибирь на каторгу. – Епифанов взял лошадку, и как только телега въехала на мост, бросил её в воду.

– Дураки и те, кто потащил по дворам клеймёных лошадей и коров с овцами. Завтра нагонят казаков, пороть будут шомполами, арестуют мужиков без всяких оправданий. А мы в стороне останемся, наше не просто будет им отыскать, земля надёжно укроет. Вот так учись жить, Никодим, с умом всё надо делать, понял?

Спиридон Митрофанович почесал непролазную, казалось, бороду, побряхтел, размышляя о чём-то своём, потом не выпуская из рук туго натянутые вожжи, усмехнулся:

– Ну чего скуксился, как тот зимний воробей на морозе, а? Игрушку жаль? Эх ты, дитя ещё несмышлёное, хотя и длинное выросло, мне уже вровень. Так и быть, подельник, не оставлю тебя в обиде, за нынешнюю ночь награжу по-царски. Возьми и ты свою долю от барского добра, мужиками сотворённого. – Епифанов засунул левую руку во внутренний карман пиджака, вытащил большую новенькую ассигнацию и протянул мне. – Возьми. Родителю скажешь, что это тебе плата за всё лето, что мой табун добротного паса и никакого падежа коней не случилось.

От радости я даже «спасибо» не мог сразу сказать: такую ассигнацию отродясь держать в руках не доводилось, даже в лавке Жугли не видел, а у лавочника в кассе денег немало, но всё больше монетами.

– Держи, держи, – подбодрил меня Епифанов, видя мою растерянность, – родителю отдашь, пусть справит вам с Николаем к Рождеству Христову обновки, Николай в школу ходит в штанах с заплатками на заднице. Бери, да язык держи за зубами, не болтай, что был с нами в имении, особенно про мёртвого барина-управляющего, обоих затаскают по судам. Понял? – переспросил ещё раз Епифанов и на моё молчаливое согласие добавил: – Ну и славно, будь умницей. – Он широкой ладонью похлопал меня по голой шее. Я торопливо сунул хрустящую

бумажку за пазуху, проверил, туго ли перетянут с обеда не кормленный живот, чтобы не выпала от постоянной тряски в телеге по просёлочной дороге.

Дома, несмотря на позднее время, у нас загостились учитель и кузнец Кузьма Мигачёв, приземистый мужик с широкими плечами, будто копна сена на лугу, только чёрный, то ли от рождения такой, то ли от постоянной копоти в кузнице. За глаза его многие на селе звали Цыганом. Кузьма внимательно глянул в мою сторону, едва я вошёл в комнату и прислонился спиной к тёплой печке – мама на ночь уже изредка стала протапливать печь.

– Где так долго был? Табуны давно в село возвратились, – строго спросил отец. Не успел я ответить, как за меня вступился Кузьма. В нашей тесноватой горнице его громовому голосу было мало места разойтись, сестрёнка даже вздрогнула и повернулась на бок в кровати:

– Видел я, как он Епифанова повёз в имение княгини. Должно быть, там и дожидался хозяина. – Я под удивлённым взглядом отца кивнул головой, не понимая ещё, чем он не доволен, почему нахмурил брови, а глаза, всегда весёлые, стали строгими.

– погоди, Иван, не брани парнишку, – остановил отца Анатолий Степанович и даже ладонь выставил в ту сторону, где сидел за столом отец. – Епифанов велел ему ехать, он и поехал, на то он и работник, подчинился хозяину. Мал он ещё, не понимает, что послушание и работа – разные вещи. Подрастёт, разума наберётся, научится за себя постоять. Не так ли, Никодим? – Учитель через стёклышка пенсне посмотрел на меня приветливо, улыбнулся, а потом подмигнул левым глазом, будто утверждал, что наберусь и я в должное время житейской мудрости.

– Расскажи, что там было, в имении. Сгорело там, похоже, всё построенное, отсюда видно было зарево пожара, – уже спокойно спросил отец. У нас в семье не принято было обманывать родителей, и я рассказал всё: и про белую лошадку и про убитого управляющего в столовой.

– Его рук это дело, – уверенно сказал кузнец и кулаком пристукнул о стол. Сестрёнка снова шевельнулась во сне, повернулась на спинку. – Он не раз там бывал, знает, что где лежит, – тише заговорил кузнец, усмехнулся. – Хитёр мужик. Не стал с барахлишком связываться, за денежками да за серебром барским приехал. Надо же!

Признаться, до моего сознания не очень доходило, что погром имения – скверное дело. Столько раз приходилось слышать, что управляющий – «кровосос», придавил крестьян арендной платой, что давно пора пустить ему под крышу «красного петуха», а теперь вроде бы жалеют о нём, ругают своих же мужиков.

Я молча достал из-под рубашки ассигнацию с портретом царицы и полуголого ангела и раскрыл её на ладони. Сказал, не обращаясь ни к кому конкретно:

– Вот, смотрите, что у меня есть. – И тут же почувствовал, что зря похвастался, этим деньгам у нас в доме не быть и минуты, потому как в печке ещё тлели красные угольки сгоревших дров. Отец подошел, высокий и жилистый, с худощавым лицом – мама потом не раз говорила мне, что я весь в него вырасту – так же молча взял с ладони ассигнацию.

– Ого, Никодим! Да это же «катенька»! – воскликнул учитель и пенсне указательным пальцем поправил, будто не веря своим глазам. – Bravo, Никодим! – Но в голосе учителя не чувствовалось настоящего восхищения, как умел он чем-то восхищаться. Скорее всего, в нём звучала насмешка, если не издёвка.

– Откуда она у тебя? – спросил отец, и голос его снова стал строгим. – В имении взял? – Он медленно стал сжимать хрустящую ассигнацию в огромном кулаке.

– Спиридон Митрофанович дал, сказал, что это плата за всё лето, что хорошо сберегал его табун. Сказал ещё, что родитель купит нам с Николаем обновку к Рождеству Христову, – ответил я. А сам смотрел, как пропадала измятая ассигнация в шевелящихся, с землистыми трещинками, пальцах, будто в костре сгорала.

– Ишь ты! – вдруг усмехнулся отец, перестал комкать ассигнацию, разжал ладонь, осторожно расправил купюру, сложил вчетверо. – Крупно взял Спиридон, коли такой деньгой не

пожалел приласкать моего парнишку! Купить он нас с тобой хотел, сынок, на эти сто рублей. Понимаешь? Как баранов на базаре покупают, так и нас хотел купить с потрохами. Да промахнулся купец новоявленный! Думал, что возьмём мы его деньги, и совесть у нас почернеет, как печная заслонка от сажи. Иди и отдай это Епифанову. Понял?

– Понял, папа, – не без сожаления о таких деньгах ответил я. – Утром отдам, спать хочется, сил нет. Николай вон как спит, не шевелится.

– Лезь на полати, соловей-разбойник! – отец снова улыбнулся. Я скинул штаны, забрался на полати за тёплой печкой, сунул под голову подушку – зашумело свежее, этим годом кошеное сено. От подушки запахло стогом.

– Не сплю я, – прошептал Николай на ухо. – Завтра поговорить надо. Спи.

Взрослые в избе продолжали свой разговор.

– Так что я хочу сказать, – негромко заговорил учитель, тут же забыв обо мне и о деньгах. – На днях через нашего товарища я получил из Самары листовки от комитета нашей партии. Вот они. Часть я оставляю у себя для наших мужиков, а часть передам дальше, в Осинки, пусть Фрол Романович распространит их среди надёжных мужиков.

– Прочти нам, Степан, что там пишут, – попросил Мигачёв, покусывая пустую трубку. – Знаешь ведь, какие мы с Иваном грамотеи. Ежели ругнуть кого по матушке, тут мы что надо. А как слово умное сказать – так и слов таких в башке не враз сыщется.

Учитель неторопливо вынул из стопки листок бумаги, приблизил к себе стеклянную лампу-семилинейку: узенький серый фитиль, словно змея на горячем камне, изогнулся в светло-коричневом керосине. Анатолий Степанович чуть прибавил света, обвёл слушателей взглядом и негромко сказал:

– Называется эта листовка «К крестьянам», то есть к нам. Сочинили её за границей, в Центральном комитете Российской социал-демократической рабочей партии, а в Самаре размножили в десять тысяч листов.

– Надо же! – не сдержался отец и головой покачал. – Такая уйма – десять тысяч! Ну, читай, Анатолий Степанович. Слушаем.

– «Деревня за деревней, волость за волостью, уезд за уездом – поднимается сельская беднота, доведённая до отчаяния... Почти непрерывное голодание, нищета, холод и и мрак – вот удел многомиллионной гольтёбы деревенской, ограбленной царским правительством, эксплуатируемой помещиками и кулаками-односельчанами...» – Учитель читал медленно, с паузами. Нарочно так делал, чтобы слушатели могли догадаться, о ком из наших мужиков написано за границей.

«Ну конечно, – думал я, стараясь осилить подступающую к голове дремоту, – начало это про Щукиных и других бедных в селе. У Щукиных в землянке только самодельный стол и две скамьи у стенок, даже занавесок нет на окнах, как у нас. А Игнатка всегда голодный. Когда Анфиса Кузьминична начинает нас, работных, кормить, так он глотает в три горла, боится, что не успеет. Да за хозяйской миской долго не засидишься, Спиридон Митрофанович тут же кричит на нас: „Хватит жрать, дармоеды! Живо навоз чистить! Скотина с утра не прибрана!“ А уж про одежду и говорить нечего. Ну вот, теперь Анатолий Степанович читает про то, как мужики старую княгиню пограбили, – удивился я. – Ну прямо слово в слово! И скот угнали и зерно развезли и попрятали, а вещи расхватали. Конечно, дом и амбары спалили. А вот тебе и казаки с саблями да с нагайками. Нет, в нас они ещё не стреляли, их в имении не было. А может, вскоре и налетят на село, посекут кого-то».

Уже засыпая, услышал голос отца:

– Ну, мужики, давайте расходиться. Вторые петухи скоро запоют.

Утром Николай проводил меня до подворья Епифанова и в десяти саженьях от ворот тихо сказал:

– Дай мне ассигнацию, я схороню её надёжно, чтобы отец не сыскал. Отдавать Епифанову никак нельзя, поймёт, что ты всё рассказал ему о грабеже и убийстве управляющего, тогда всем нам долго по селу не бегать, порежут или ночью подопрут двери и пожгут дом вместе с нами. Я приберегу деньги для Самары, когда отец отправит меня учиться на агронома. А ты делай вид, что деньги отдал, и сам о том не заикайся первым.

Николай взял ассигнацию и поспешно пошёл прочь от чужого подворья. Навстречу ему по улице бежал Фёдор, раскрасневшийся, со слезящимися глазами, отпихнул меня от калитки и, задыхаясь, прокричал отцу:

– Едут, батя! Казаки... с полсотни, не меньше. Уже у поворота дороги. У крайних осокорей мы их приметили.

Епифанов перекрестился несколько раз, потом сунул Фёдору какой-то свёрток, который держал в руке и приказал:

– Спрячь в нужник, под доски. Найдут – каторга нам! Кто знает, может, у княгини все номера ассигнаций были записаны в казённой палате. Живо, чёрт тебя возьми, что столбом встал! Сейчас по дворам разъедутся с обысками!

Фёдор метнулся в нужник за амбаром, захлопнул за собой дверь из серых досок и не появлялся несколько минут. Казаки, отставая по двое около домов, проехали по улице затаившегося села. Во двор Епифановых въехали двое, сердитые, будто не выспавшиеся после разгульной ночи, очень похожие друг на друга, пожилые. Может, и не так уж старые, но с широкими бородами и вислыми усами. Слезли с коней разом, уверенно пошли к крыльцу.

– Всем в дом! – распорядился тот, что повыше ростом. – Сидеть смирно, пока мы будем проводить обыск.

– Дозвольте мне сопровождать вас, господин хорунжий, – поспешил навстречу казакам Спиридон Митрофанович, улыбаясь и разводя руками, словно собирался обнять разом неожиданных и опасных гостей, но в ответ услышал неожиданно:

– Я тебе позволю! Я тебе позволю, мужицкая морда, грабители и убийцы! Сидеть всем по лавкам и ни с места!

Епифанов будто в бороду уронил приветливую улыбку, тут же повернул голову в мою сторону, словно его испугала мысль, не по моему ли доносу обозвали его убийцей, но я спокойно пожал плечами. Хозяин взял меня крепко за руку и вместе с сыновьями мы торопливо вошли в просторную горницу, сели на лавку около окна на подворье. Один из казаков прошёл по двору, распугивая спящих кур в разные стороны, открыл просторные двери в конюшню, внимательно осмотрел клеймо на каждой из десяти лошадей, заглядывал в бочку с овсом, даже шашкой потыкал зерно до самого дна, затем шашкой проверил, нет ли чего твёрдого в куче сена в углу, раскидал солому в телегах, которые стояли, закинув оглобли вверх, и перешёл в овчарню. Старший, который кричал на хозяина, долго топтался в сенцах, гремел пустыми ведрами в тёмном чулане, скоро под его ногами закричала лестница на чердак, слышались приглушённые потолком шаги.

– Анфиса, – прошептал Спиридон Митрофанович, – накрой стол и поставь четверть водки. – Указал рукой на стол, только что убранный после завтрака домочадцев.

– Мигом сделаю, батюшка. – Анфиса Кузьминична легко подхватила с лавки, ступая совсем неслышно, будто кошка на сносках, прошуршала юбками до буфета под стеклом. Вынула непечатый ещё графин с водкой, на блюде нарезанные колечки колбасы, толстое домашнее сало и каравай хлеба, разрезанный на четыре части. Всё это поставила на белую скатерть, рядом с графином звякнули осторожно два стакана, хозяйка наполнила их до краёв. И только успела сесть рядом с мужем, как вошли казаки, злые. С насупленными бровями: сейчас начнут обыск в горнице, перевернут сундуки и постель на кроватях, а то и подушки вспорют шашками. Перекрестились на иконы в переднем углу. Спиридон Митрофанович опять поспешил навстречу казакам.

– Извольте, ваше высокоблагородие, откушать, с дороги оно весьма полезно. Не гнушайтесь нашим столом. И насчёт чистоты не извольте беспокоиться, чистота особенная в нашем доме, не голытьба мы, в достатке живём, сами извольте видеть, без чужого скарба обходимся, своим счастливы ради души спокойствия. Прошу пригубить по глоточку, пыль дорожную, так сказать, ополоснуть.

Казак простучали навозом испачканными сапогами по половым доскам, старший поднял стакан против окна, поднёс к носу, понюхал, шевеля усами.

– Как детская слеза, ваше высокоблагородие, сминовская, покупал в Самаре. Употребите во здравие, – приговаривал Епифанов. – И сыр с колбаской свежие, вот извольте.

– Ну ежели так, то с Богом, во здравие хозяйки и хозяина, – ответил старший, выпил, потрогал пальцами чёрные усы, положил на ломтик белого хлеба кусочки колбасы и сыра, откусил. Второй казак проделал то же самое, причмокнул и принялся закусывать.

Спиридон Митрофанович повторно наполнил стаканы. Приветливым жестом пригласил гостей к угощению.

– Крепкое у тебя хозяйство, мужик, – похвалил старший, когда, так и не осмотрев комнаты, казаки нетвёрдыми шагами направились к своим коням у ворот. – Приятно в такой дом гостем заехать.

– Заезжайте, непременно заезжайте, когда служба занесёт вас в наши края! – вышагивал рядом, уже не горбясь и не суетясь, Епифанов. – Будьте ласковы, встречу как лучших гостей, хлебом-солью. А в убийствах мы непричастны, нам ли от достатка рваться на каторгу? То голытьба безштанная, она на всё способна. Пошарьте у них, непременно что-нибудь из барской усадьбы отыщется.

Хлопнули ворота, простучали копыта коней в сторону соседнего двора, и тут же Спиридон Митрофанович, будто только проснулся, закричал:

– Игнатка, Никодим, живо за работу! Хватит рассиживаться! Игнатка, очисти после ночи свинарник и свиней выгони в поле пастись. Никодим, запряги Орлика в тарантас, со мной поедешь.

Игнатка тоскливыми глазами глянул в мою сторону, молча взял из кучи инструмента в углу двора четырёхзубые вилы и потопал на заднюю часть двора, где в загоне обитали четыре свиноматки. Раньше мы вместе чистили свинарник, а теперь Игнатку послали одного, вот ему и обидно стало.

В полдень, карауля коня возле деревянной лавки Жугли, я услышал чей-то протяжный женский вопль, как по покойнику, обернулся и увидел – от волостной избы в окружении казаков отошла толпа наших односельчан. За казаками бежали женщины, ребятишки, поднялся крик, но лица казаков словно из твёрдого воска. Только глаза смотрели зло и в руках длинные ремённые плети. Знакомый уже хорунжий изредка кричал в сторону толпы:

– Не суетись, не суетись под копытами, стопчу! – Или другое: – Не велено подходить к арестантам. Сказано вам – не подходить! Прочь с дороги! – И тогда несколько казаков начали поднимать плети, грозя стегануть по головам. Женщины шарахались назад, ребятишки с визгом отскакивали на обочину дороги, спасаясь от ударов. Я торопливо стал разглядывать лица знакомых мне сельчан в этой толпе и скоро почти успокоился – отца среди них не было. Да и за что его арестовывать, он не был в имении, когда там шёл погром. И тут толпа ахнула – мой дружок Игнатка, будто пуганый воробей из-под горячей стрехи дома, выскочил из плотной толпы, нырнул перед конской мордой и вцепился в руку отца. Надрываясь в крике, он пытался остановить его и воротить домой. Шукин шёл крайним, избитый уже плетью и с кровоточащей раной на лбу. Рослый казак перегнулся в седле, ухватил худенького Игнатку за плечо и отбросил в придорожную пыль. Конь под казаком шарахнулся и, чтобы не наступить на упавшего, отпрянул к арестантам. Другой казак плетью ударил лежащего Игнатку по спине, и тот с рёвом пополз прочь от дороги, к истоптанной и пыльной лебедке.

– Кровопийцы! – закричала чья-то женщина из толпы. – Душегубы, будьте вы прокляты!

Вслед за словами в казаков полетели комья сухой земли, кизяки. И я зашарил в траве руками, отыскивая, чем бы запустить в обидчиков моего товарища, когда те окажутся поближе, но казаки стали конями наезжать на арестантов, заставляя их идти быстрее, а задние молча сняли с плеч карабины и пригрозили открыть стрельбу, если кто и дальше будет преследовать конвой.

Вскоре арестованные скрылись за поворотом дороги, а я так и не знал, радоваться мне, что отца не арестовали, или вместе с Игнаткой реветь и проклинать казаков. Епифанов давно уже вышел из лавки вместе с Жуглей. Оба изрядно выпившие, смотрели вслед конвою и ухмылялись.

– Вот какова она, жизнь, Никодим, – сказал мне Спиридон Митрофанович, заваливаясь в тарантас грузным телом. – Кто умно живёт, тому слава и почёт, а кто с худым умишком берётся за делишки, тому казённый сухарь да пыльный этап. Вот так-то, хлопчик, познавай жизнь со всех сторон, да свою дорожку намечай, не то сгинешь на каторге.

Когда въехали на подворье, Епифанов распорядился:

– Распряги коня, задай лошадям овса да ступай домой. Какой уж тут сегодня к вечеру табун гонять, все перетряслись от страхов!

Я напоил коней, засыпал по малой доле овса и забежал к Игнатке на сеновал за амбарами, но его там не оказалось. Я решил малость подождать товарища и поделиться с ним мятными леденцами, которым и меня угостил в лавке хозяин.

В сенцах громыхнуло опрокинувшееся ведро, послышался ворчливый голос Спиридона Митрофановича:

– Анфиса! Опять твоя Степанида не прибрала на место подойник! Высеку когда-нибудь ленивую бабу, будет знать место каждой вещи в доме!

Анфиса Кузьминична что-то ответила, я не расслышал, потом снова раздался голос хозяйина:

– Ты, хозяйюшка, Никодима привечай да подкармливай, великое дело он сегодня сотворил для нас своим молчанием, не крикнул «государева слова», не миновать бы мне виселицы или в лучшем случае... – Он не закончил мысли, перескочил на другое: – Заметила, в какую силу парнишка входит? Из него добрый работник будет, если учитель мозги не испортит. И ты, Клим, подружись с Никодимом, не дразни его больше «каланчой», постарайся сделать его своим напарником. Ты, мать, не скупись, когда будешь его кормить, мужик растёт, ему питание надо справное.

– Хорошо, батюшка, сделаю по твоему совету.

– Да не сегодня же! Потом, когда придёт пора брать ежа голыми руками, – недовольным голосом прервал Спиридон Митрофанович жену, протопал тяжёлыми сапогами по крыльцу, и всё стихло.

Я осторожно слез с сеновала, размышляя, как это хозяин хочет поймать голыми руками какого-то ежа?

Кончилось первое лето моей работы у Епифановых, а накануне Рождества Христова, после сильной пурги, я повёз в санях хозяина в Исаклы по каким-то его делам с закупкой овса для лошадей. По дороге, верстах в двадцати от деревни Подлески, навстречу нам попался Анатолий Степанович в санях, в тёплом тулупе, на заиндевело лошади. И у самого воротник тулупа вокруг лица в белой опушке. Приостановили сани, перекинулись парой слов о дороге впереди, можно ли проехать?

– Удивляюсь я твоему отцу, Никодим, – лёжа в ворохе сена и кутаясь в длинный тулуп, заговорил за спиной Епифанов. – Умный ведь мужик, а связался со всякими смутьянами, будто можно обух плетью перешибить. Нет, брат, шалишь. Силён тот, у кого власть и у кого деньги.

К тем поближе и надо искать дорогу. Не зря люди говорят: с сильным не борись, с богатым не судись.

Я молчал, не смея возразить хозяину. В последние дни он всё чаще стал заговаривать со мной об отце, расспрашивал про учителя, часто ли он навещает нас вместе с кузнецом.

– Хоть бы раз послушать, как учитель читает умные книжки, – вздохнул Спиридон Митрофанович. – Может, и вправду от тех книжек просветление в голове начинается, как ты думаешь? – вздохнул Спиридон Митрофанович. Он завозился в сене, должно быть, поворачивался на другой бок.

Я хотел было сказать ему: «А вы сами попросите учителя дать вам те умные книжки», но вовремя сдержался, прикусил язык, вспомнил строгий наказ отца – никому ни полслова о том, что делается в нашем доме и кто у нас бывает. Сдержал дрожь в голосе, ответил, не оборачиваясь, поглядывая вперёд на дорогу:

– Кабы они и вправду умные книжки читали, а то соберутся за столом, бутылку водки поставят возле чугуна с картошкой, пьют и песни горланят, спать нам с Николкой не дают. Да отец ещё грозит побить, когда мы на печке завозимся.

– О чём песни-то? – снова оживился Епифанов. – Всё про царя, наверно?

– Про царя песен нет, не знаю я таких. Они про ямщика поют, который застыл в степи, про то, как казак скакал через долину домой, ещё про золотые горы где-то далеко отсюда, – сочинял я, вспоминая слова из песен, которые и в самом деле любил петь отец под гармошку. Обнимутся с Мигачёвым – кузнец головой отцу до плеча только – раскачиваются и тоскливо поют, особенно про бродягу, который бежал с какого-то Сахалина.

Епифанов надолго замолчал. Молчал и я, изредка понукая коня, когда тот, вытянув сани на подъём горки, норовил и под уклон идти ленивым шагом, подбрасывая копытами спрессованные лепёшки белого снега. Из Исаклов – благо что погода установилась тихая, с морозцем и солнышком – мы вернулись на второй день. Не доезжая своего подворья, Епифанов велел мне свернуть за церковь ко двору попа Афанасия.

– Надо гостинец батюшке передать, – пояснил Епифанов. – А ты посиди тут, я скоро ворочусь.

Но едва он ушел, как мне страсть захотелось пить.

– Испрошу у матушки попадьи кружку воды, – решил я, обстучал о крыльцо снег с валенок, вошёл в коридор большого поповского дома. И замер. Через приоткрытую дверь из передней комнаты доносился взволнованный, срывающийся на крик голос Епифанова:

– Гнать надо этого антихриста из села! Гнать туда, откуда его к нам выселили! Пусть там сидит и не мутит наш народ! Святому слову быстрее власти поверят, надобно сказать про тот спор, что случился в день читки манифеста, так сразу ясно станет, что за нечистая сила этот смутьян! И всё семя антихристово гнать надобно, под корень выкорчёвывать смуту, чтобы не портили нам мужиков!

Наверно, Епифанов услышал, как скрипнула за мной наружная дверь, голос его пресёкся, показалась всклокоченная седая борода попа Афанасия.

– Чего тебе, чадо? – спросил он приветливым басовитым голосом, а глаза, глубоко вдавленные по обе стороны носа, глянули на меня настороженно, словно я воровать к нему забрался.

– Попить бы, батюшка Афанасий. Весь день в дороге, нутро пересохло, – попросил я и в пояс поклонился.

Поп Афанасий, высокий и уже заметно сутулый, поспешно прошёл на кухню, деревянным ковшом зачерпнул воду из ведра, и я с наслаждением напился.

– Спаси вас Бог, батюшка Афанасий, – снова поклонился я попу, потом чмокнул протянутую морщинистую руку, которую поп высунул из длинного просторного рукава чёрной рясы. Рука у него была худая, в рыжих густых волосах.

– О чём ты сейчас слышал разговор, чадо? – ласково спросил он, подняв мою голову пальцами за подбородок.

– Об антихристе, батюшка Афанасий, – бодро ответил я, про себя подумав, что это он выпытывает, как будто сам не знает, о чём сейчас говорил с моим хозяином.

– А кто он, антихрист этот, ведаешь ли?

– Конечно, батюшка Афанасий. Антихрист – стало быть, нечистая сила, – ответил я и плечами пожал: охота ему всякую чушь выспрашивать.

– Вот-вот. – Глаза у попа потеплели. – Намедни стали бабы поговаривать, что нечистая сила в скот вселяется, молоко у коров портит, ночью коням гривы заплетает, а хвосты гребешком чешет, – зачем-то растолковывал мне всё это поп, не выпуская моего подбородка и заглядывая в глаза. – Вот и надобно просить разрешения властей на крестный ход по селу, выгнать эту нечистую силу прочь, откуда она пришла к нам, сиречь в преисподнюю. Уразумел ли, чадо?

Конечно, уразумел. Разговоров о нечистой силе среди женщин было хоть отбавляй. И где мне в десять лет было разобраться, что речь у попа с Епифановым шла совсем не о том «антихристе», который по ночам чешет кобылам гривы...

Жандармы ввалились к нам той же ночью, ближе к рассвету, заполнили комнату, принесли с собой ночной страх перед неизвестностью и белый снег на промёрзших сапогах. Я спал в углу на печке и сначала со сна не понял, что происходит в доме, скоро различил голос отца, Николая, тихий плач мамы, соскочил на пол босиком. Понял – это пришли «чёрные гости», о которых недавно говорил Спиридон Митрофанович. Пришли-таки, и я смутно догадывался, с чем это могло быть как-то связано: с учителем и кузнецом.

– Дверь хоть в сенцы закройте, – попросила мама, укутывая сестрёнку в кроватке. – Детей перестудите!

На голом, выскобленном до желтизны столе лежала чужая с кокардой папаха, за столом сидел становой пристав Глушков, широколицый, обрусевший калмык. При свете лампы я узнал его сразу. Мне и прежде приходилось видеть пристава, когда тот наезжал по праздникам к Епифановым, любил чужое застолье, когда напивался, пьяно шурил продолговатые глаза и лез к Анфисе Кузьминичне целоваться, выпячивая из-под широких усов мокрые губы. Сам я этого не видел, Клим рассказывал.

Мы с Николаем стояли у теплой побелённой перед праздником печи, поднимая от холода то одну, то другую ногу для согрева: дверь в сенцы жандармы так и не закрыли. Они сновали по дому туда-сюда то с пустыми руками, то что-то приносили приставу для показа. Тот мельком смотрел и отмахивался рукой – не то, дескать.

– Нашёл! – раздался с чердака через лаз громкий крик, оттуда в белой пыли и паутине спустился молодой сияющий жандарм со связкой тонких книг, журналов и листовок.

– Рад? – вдруг выкрикнул Николай и шагнул навстречу жандарму, словно хотел вырвать находку из вражеских рук и убежать в лес. Но отец вскинул руку, Николай остановился. – Зря не подпилил лестницу загодя, чтоб башку себе сломал, служака!

– Ужо и тебе башку скоро сломаем, бунтовское отродие, твой час не за горами, вывернем тебя наизнанку, не прыгай! – огрызнулся жандарм и положил перед приставом находку.

– Бойкая лиса перед зайцем, пока не видит охотника за деревом с ружьём! – огрызнулся Николай, махнул рукой и умолк.

– Так-так, – поразился пристав. – Вот и находка так вовремя подоспела! – Пристав ласково похлопал рукой по книгам, посмотрел на отца, который уже одетый в пиджак и валенки стоял у двери, прислонившись плечом к косяку. Когда жандарм внёс книги и листовки, отец слегка побледнел и посмотрел на маму, которая глядела на него с немым ужасом, понимая, что суда теперь не миновать.

– Вот они, запрещённые книжечки, – радуясь находке, сказал пристав, взял из стопки листовок одну из них. – Вот они, запрещённые издания, – повторил пристав, а Николай в тон ему нараспев добавил:

– Вот они, дарованные народу свобода собраний и митингов, свобода читать молитвы по убиенным рабочим в столице.

– Николай, – тихо с укоризной попросил отец сына не дразнить излишне жандармов. Брат умолк. Глушков зло посмотрел на Николая, небрежно бросил листовку на стол со словами:

– Дай вам настоящую свободу, вы наворотите таких дел, что хоть святых выноси с Руси. – Повернулся к жандармам, надевая перчатки. – Выводите арестанта на улицу, хватит сидеть.

Тогда мне впервые стало страшно за отца. Я слышал в церкви, как поп Афанасий, сотрясаясь от злости и вскидывая длинные руки над головой, проклинал «арестантов», кричал на прихожан, которые стояли внизу, что ад и страшные муки ждут тех, кто против царя и властей бунтует, а летом следующего года, когда вновь вокруг начались мужицкие бунты, самовольные покосы, поджоги имений, у попа Афанасия сгорел хлебный амбар. В тот же день Николай торопливо засобирался в Самару. Когда прощались у крыльца дома, он сказал мне:

– Поклон попу Афанасию я передал от бати, будет помнить отца нашего и Анатолия Степановича и дядю Кузьму. Гришка Наумов видел, как поп своего работника посылал верхом на лошади к становому, а потом тот работный воротился в село с жандармами, которые и нагрянули к нам с обыском. Братишка, держи ухо востро, народные бунты только начинаются по всей стране. Мне скоро в армию служить, с оружием там много мужиков соберётся, и мы ещё покажем всяким приставам, где раки зимуют.

Мы обнялись, и я смотрел вслед брату, который уходил с котомкой за плечами по дороге вниз к реке Сок, которая спокойно несла свои воды в недалёкую от нас Волгу.

Каторжанская пара

Прошло два с половиной года. В одно из воскресений, загнав табун на подворье Епифановых, я прибежал домой, мама только что испекла хлеб. Я это учуял ещё в тёмных пропахший мятой сенцах. Она вынимала горячие караваи, раскладывала на столе и тут же быстро смачивала корочки водой и укрывала полотенцами.

– Мама, это чей хлеб? Анфисы Кузьминичны? – спросил я с порога: иногда хозяйка просила маму испечь хлеб для работников, летом их набиралось до десяти человек, особенно в сенокос. Мама повернулась ко мне, и я увидел её счастливые глаза, что у неё нечасто бывали в эти годы разлуки с нашим отцом и Николаем.

– Нет, сыночек, это твой хлеб, твой, кормилец ты наш! – сказала и обняла меня влажными, хлебом пахнущими руками.

– Почему это – мой? – не понял я, отстранил её от себя и посмотрел в зелёные, влажные от набегающих слёз глаза.

– Сегодня поутру Анфиса Кузьминична прислала хромого Прохора, который у неё на кухне в поварах служит. Он-то и привёз куль очень хорошей муки-белотурки. Сказал, что это от хозяина, за выхоженного тобой жеребёнка. А когда я пошла к хозяйке поклониться, да заодно вернуть готовую пряжу, что давала мне на неделю, Анфиса Кузьминична и говорит, что Клим постоянно обижают сельские мальчишки, так пусть, дескать, мой Никодим вступается за него.

Я с удивлением выслушал маму, засмеялся и пояснил:

– Да Клим сам любит атаманиться и забиячить, силёнок мало, а других первым задирает на драку, а потом папашей страшает. Он да Мишка Шестипалый первые задиры на селе. Но ежели ты просишь, буду за Климку вступаться в драках, но угодничать ему я не стану, как Игнатка Щукин, тот ему даже сапоги солидолом натирает.

– Ладно, сынок, поступай как знаешь, – согласилась мама и добавила почти шёпотом: – Приходится поклоняться чужому порогу, нужда понукает. Николая в армию забрали, где он, что с ним. Как в воду канул. Был бы сейчас отец с нами, тогда... – Она не договорила, опустила голову, и я заметил на висках у неё первую седину. Из правого глаза выкатилась слеза, сбегала к губе и упёрлась в родинку.

– Не плачьте, мама, – успокаивал я её как мог. – Папа непременно скоро вернётся. Он к лесу привычен, охотник знатный, не заблудится в тайге. Да и не один он там.

– Уж больно срок немалый присудили, пять лет работ в ссылке. Ладно, что хоть учитель рядом с ним, всё свой человек, в беде подмогнёт. А Кузьма Мигачёв сегодня мне всю посуду дырявую запаял, – оживилась немного мама. – Чинит, а сам убивается, Вот, говорит, их в Сибирь отослали, а меня через два месяца освободили, дома староста за мной доглядывает. Один я остался, без друзей. Тимофей Барышев совсем слёг, не встаёт уже, должно, помрёт скоро.

Мама помолчала немного, погладила меня по голове, как маленького, и снова попросила:

– А ты уж вступайся за Климку, бог с ним. Отец вернётся, своей силой жить станем. А пока пусть уж так будет, как хозяйка просит, она не обижает нас и денежками за пряжу платит, и вот, муки прислала, надолго хватит.

Так и повелось той поры, что мы с Климом стали бывать везде вместе, словно невидимой нитью связанные. И не один раз, как подрастать стали, слышал, на вечерних посиделках ворчали за спиной парни:

– Эх... Вздуть бы Климку, чтоб не заедался, да чтоб чужих девок похода не лапал!

– Попробуй вздуй, когда Никодим вечно рядом торчит, будто часовой у сторожевой будки! У этой каланчи кулаки будто свинцом налиты, одним махом в кизяки придорожные угодишь!

На вечеринках Клим всячески оказывал мне внимание, как равному, сажал рядом, угощал конфетами, которые я незаметно прятал в карманы для маленькой сестрёнки. Не отставал от нас и Игнат Шукин. Как угнали его отца в ссылку за погром в имении, так с той поры ни одной весточки не пришло, а некоторые шептали, будто бумага пришла начальству, в которой писано, что помер Лука Шукин на этапе, не дошёл до места ссылки. После таких разговоров Игнат вовсе сник, угождал Климу во всём, бегал с его денежками за водкой, носил тайком из погреба квас и мочёные яблоки или смородиновую наливку. Клим явно помыкал над Игнатом, с его злого языка стали парня «Суетой» называть, а у него сил было мало за себя постоять: ростом он ну никак не прибавлял, и проку от него Климу в уличных драках не было никакого. Его даже и бить никто не решался: ударь такого, а он возьми да испусти дух, а тебя загонят на каторгу! Женился Игнат рано, в семнадцать лет. Помню, в первый раз, когда мимо наших посиделок прошёл Игнат с тихой, но красивой бедной Клавой, Мишка Шестипалый вдруг дико заржал и закричал вслед:

– Смотрите-ка, люди добрые! Спаровался Суета, подзаборный князь! Голь на голь голыми пузом легла, голодранцев принесла! – И тут же захлебнулся от собственного визга. Не стерпел я такой насмешки над товарищем, и несильно вроде ударил Шестипалого по затылку, да всё равно тот на ногах не устоял, а когда подхватился бежать, грозил старосте пожаловаться и упрятать меня в «холодную».

– Так всегда будет, кто Игната или его Клаву дурным словом обзовёт! – со злостью выкрикнул я. – Чтобы все слышали!

Клим шмыгнул плоскими ноздрями, явно не одобряя моего поступка, но не посмел укорять за это, плюнул вслед и сказал примирительно:

– Поделом башке непутёвой!

Клим вырос среднего роста, хотя в плечах и неслабым был, в отца своего Спиридона Митрофановича вышел. Любил на посиделки приходиться подвыпившим, пялил чуть навывкате глаза на сельских девок, не прочь был поволочиться за доступными. А на Марийке, дочке Анатолия Степановича, крепко, до волдырей, обжёгся Клим. Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать, как распускается цветок шиповника? Ещё вчера он чуть виден был среди зелёных листьев, и никому не хотелось тянуть к нему руку, а утром распустится такая свежая красота, такой аромат от цветка, что станешь ли обращать внимание на досадные уколы колючек? И тянутся к цветку жадные руки, норовя сорвать его для себя.

Вот так и Марийка, дочь сельского учителя, погостив у бабушки около года после ареста отца, вернулась в село к матери поздно вечером, поутру следующего дня расцвела перед нами стройная, гибкая, как весенняя лоза! А глаза – ну чернее самой чёрной сливы. И блестят так же, едва на них глянет хоть краешком солнце.

На посиделки мы в те дни сходились к белой кирпичной церкви. На вытоптанную конскими копытами площадь. Сюда и скамейки к деревянному забору выносили из ближних изб, здесь и гармошку ребята рвали в лихом переплясе, а пыль, бывало, такую поднимали, что дед Никанор, церковный сторож с длинной реденькой бородой и изрядно уже подслеповатый, грозил пальнуть в нас солью из ружья. Сам же в молодости, по рассказам старших сельчан, был изрядный плясун, потому парни его угроз не боялись.

Вот и пришла в первый вечер на посиделки Марийка. Парни рты поразевали, девчата зашептали из уха в ухо. Первым в круг выскочил навстречу Марийке Мишка Шестипалый, сначала начал чваниться рубахой красного атласа, потом гоголем шаркнул перед ней хромовым сапогом и правой рукой чуть ли не по земле провёл.

– Желание моё имею кадрили городскую плясать с вами, сударыня-барыня! – А сам подвыпившую морду в нашу сторону повернул. Словно сказать хотел: «Смотрите, как я сейчас Ваньку валять буду!»

Но напрасно тряс Мишка перед девушкой шёлковым поясом с голубыми кистями, Марийка даже голову не повернула в его сторону, прошла мимо согнутого в шутовском поклоне Мишки, мимо расступившихся парней, мимо чубатого гармониста в белой расшитой рубахе навывпуск и подошла прямо ко мне.

– Для сельской кадрили я сама выберу кавалера, су-у-дарь. Сапоги хромовые, а навоз на них старый... Можно присесть рядом, Никодим? – спросила так просто, будто мы брат и сестра или всю жизнь сидели вот так, рядышком на скамейке, касаясь локтями. Клим вскочил было со своего места и рукой молча пригласил Марийку сесть, но она села там, где я уступил место, а Клим опустил на скамью слева от меня! Боже, что творилось в моей голове в ту минуту! Ноги налились таким жаром, будто кто развёл под ними костёр! Весь вечер я никого не видел, ничего не слышал, только украдкой смотрел на Марийку, а она, такая красивая, ловко грызла семечки, которыми я догадался угостить её, и смотрела на пляшущих ребят и девочек.

Очнулся я от того, что гармонь неожиданно замолкла, а откуда-то из-за спин парней долетел хриплый пьяный голос:

– Нет, вы только посмотрите, как сидит эта КАТОРЖАНСКАЯ ПАРА!!! Хоть сейчас под венец!

Не знаю, какая сила вскинула меня на ноги, но, когда я сделал попытку раздвинуть по сторонам стоящих рядом парней, Мишка пьяно перебирал хромовыми сапогами уже далеко вдоль улицы, торопясь скрыться в своих воротах. В спину ему летел дружный и обидный смех девочек. А Марийка спокойно подошла ко мне и тронула за руку, успокаивая, чтобы я не погнался за Шестипалым.

– Плюнь на беспутного, Никодим. Кого распотешит такое шутовство? Разве что самого глупого человека? Невелики наши пожитки, да чисты, собственными руками заработанные. Я горжусь своим отцом. И твой не чета иным папашам. Проводи меня, Никодим, уже поздно, мама волноваться будет у калитки.

Тёмной улицей я проводил Марийку до самого крыльца, куда падал свет из окна от керосиновой лампы, подвешенной к потолку. Я видел эту стеклянную лампу поверх белой занавески, а над лампой широкая железная тарелка – абажур, чтобы побелка на потолке не выгорала. Заметив нас издали, Анна Леонтьевна поспешила в дом, будто и не дожидалась дочери на улице. Мы остановились на стареньком крыльце, а я сказать не могу ни слова, только руками, как пьяный, то в карман, то из кармана, будто там у меня миллион и я боюсь его потерять. Марийка улыбалась, наблюдая за мной, потом тихонько толкнула ладошкой в грудь.

– Иди спать, большо-о-ой ребёнок. Зоревать нам с тобой пока недосуг за делами. Утром рано вставать. Иди же! – И она снова правой рукой дотронулась до моей груди, но вроде бы даже не для того, чтобы оттолкнуть, а чтобы просто прикоснуться. Я попятился с крыльца: в сенцах хлопнула дверь и голос Анны Леонтьевны долетел до нас:

– Это ты, доченька? Домой пора.

Как быстро летит время, особенно если каждый день наполнен пьянящим молодым счастьем! И вот где-то в конце мая месяца двенадцатого года как-то вечером я напоил и загнал хозяйский табун и прибежал домой переодеться в единственную у меня чистую рубашку из синего сатина. И вдруг сначала послышались тяжёлые шаги мимо окна. Мама у стола замерла, вслушиваясь, затем щёлкнула металлическая задвижка на калитке, застучали сапоги с железной подковкой в сенцах, распахнулась дверь, и на пороге появился широченный в плечах парень в пыльных яловых сапогах, в пиджаке, из-под которого видна серая навывпуск рубаха. Снял с плеча котомку. Улыбается, радуясь нашему всеобщему столбняку.

– Николай! – Первой опомнилась и завопила у меня за спиной сестрёнка, вылезая из-за стола, а брат медведем надвинулся на меня, охватил ручищами. Но и его рёбра, как говорится, затрещали под моими руками, а мама суетилась вокруг нас, охала и приговаривала:

– Да расцепитесь вы, петухи непутёвые. Господи, изломают друг друга до полусмерти!

– Хо! – выдохнул Николай. – Возмужал, братишка, возмужал.

– Да и ты не зачах на городских харчах! – в тон ему ответил я. – Раздобрел, дюжий стал, а вверх не очень поднялся. Что ж так, братишка?

Николай, отслужив срочную службу где-то в наших азиатских краях на границе с персами, откуда и писем посылать было невозможно, вернулся в Самару и поступил работать в кузнечный цех какого-то завода, о чём известил нас с месяц назад, обещая приехать в гости.

– Потолки у нас, братишка, дюже низковаты, как в подземном царстве злого Кощея, – да угару-копоти не продохнуть. Так что голову вверх не задираем перед начальством, больше действуем исподтишка. А ты под синим небом, как весенний лопушок, вверх тянешься и скоро зацветёшь алыми цветочками.

– Уже зацвёл, – ехидно пискнула сестрёнка, припрыгивая около старшего брата на одной ноге.

– Да ну-у? И кто же на него так повлиял? Нина, иди ко мне, я тебе городских подарков привёз, а ты мне про эту девицу расскажи.

Сестрёнка-проныра тут же обе руки запустила в котомку, послышались сплошные восклицания.

– Помнишь Марийку, дочку учителя Анатолия Степановича? – спросила мама, торопливо накрывая на стол праздничную скатерть.

– Как же, помню. Тоненькая такая, с чёрными косичками егоза.

– Егоза она была лет пять тому назад, какой тебе помнится. А теперь такая красавица, вся ладная да душевная, вся в отца своего.

Николай повернулся ко мне. Мы уселись за столом друг против друга, улыбались. Николай столько лет не был дома, не скрывал радости, и мы были рады бесконечно, что его мытарства наконец-то прекратились и теперь будем видеться почаще.

– Одобряю, братишка. – Николай кивнул головой. – От хорошего корня хорошее дерево растёт.

После ужина и чая с горячими бубликами мы с братом вышли на крыльцо поговорить. Николай привалился к косяку, смотрел на тёмное в звёздах бездонное небо, спросил:

– Что слышно у вас про события в Сибири? – осмотрел остатки самокрутки, словно боялся обжечь губы.

– В Сибири? – не понял я и переспросил: – А что там случилось?

– Вот как? У вас разве не сообщали о Ленском расстреле рабочих? – удивился брат, придавил о косяк самокрутку. На сером обветренном косяке осталось тёмное пятно пепла.

– У нас всё толкуют о минувшей голодной зиме, о посевах и видах на будущий урожай. Далеко мы от Сибири. Даже ворон вестей оттуда не приносит.

Николай опустил на ступеньку крыльца, посадил и меня рядом. Заговорил возможно тише:

– Есть в Сибири большая река Лена, нашей Волге подстать, а вокруг богатые золотые места. Жадные хозяева приисков так прижали голодом работных людей, что тем невмоготу стало терпеть, хоть об пень головой. Вот они собрались семьями в огромную толпу и пошли в главную контору искать правду-матку. Хозяева и показали народу, в чём она состоит эта правда-матка! Они встретили работный люд солдатскими пулями, как в Питере, у Зимнего дворца. Помнишь, в январе пятого года?

Про пятый год я помнил, началось такое...

– И что же рабочие потом? – спросил я, тут же подумал про отца, ведь и он где-то там, в Сибири.

– Теперь по всей России сызнова поднимается волнение. В Самаре рабочие нескольких заводов объявили забастовку, вышли на улицы и протестовали против расстрела мирных людей. Они знаешь, что придумали? Собрались на площади перед тюрьмой и пропели похоронный марш. – Николай не сдержал улыбки. – Представляешь себе, огромная каменная тюрьма, в окнах за решётками лица заключённых, тюремщики бегают, городские скачут со всех концов Самары. А сотни людей дружно поют: «Вы жертвою пали в борьбе роковой!» Это, братишка, начало нового народного гнева. А то ли ещё будет, когда раскатаем всю Россию! Да вот если бы к рабочим примкнули все бедные крестьяне... – Николай вздохнул, подумал о чём-то и добавил: – Много ещё нашего брата падёт в этой роковой борьбе, прежде чем наступит светлое будущее, о котором каждый мечтает.

Я с удивлением слушал Николая, а в памяти вставал Анатолий Степанович, снова будто его слова слышу о рабочих, о бедных крестьянах. Значит, и брат вступил на ту же дорогу следом за ним и отцом. Стало страшно, но я сдержался и не сказал ни слова. Николай по-видимому понял моё душевное состояние, потрепал меня тяжёлой ладонью по голове и сказал:

– Интересно и то, что главный виновник рабочей крови на Лене – жандармский полковник Познанский, он теперь у нас, в Самаре, возглавляет местную жандармерию. И круто забирает, подлый убийца! Его из Сибири убрали, чтобы революционеры не пристрелили, да ничего, найдутся и здесь, если надо будет. Вот, возьми. Это газета про Познанского, всё прописано, что он за фрукт, прочтёшь на досуге.

– Это я-то прочту?

– Ах, чёрт. – И Николай ладонью хлопнул себя по лбу. – Не хотел тебя обидеть. Тогда попроси Марийку прочесть.

– Это другое дело, – согласился я и спрятал газету в карман. Немного помолчали, и Николай спросил:

– Ты бы мог спрятать у себя кое-что надёжно до поры, когда придёт от меня человек и заберёт всё.

– А что это «кое-что»? – спросил я и насторожился, понимая, что разговор пойдёт не о городских баранках.

– Книжки, газеты и новые листовки, – уточнил Николай чуть слышно.

– Как отец? – вспомнил я ту страшную ночь с жандармами и холод от раскрытой двери в сенцы. – А ты подумал, что будет с мамой и сестрёнкой, если и меня арестуют и отправят в Сибирь? Мама пойдёт с нищенской торбой по соседним сёлам куски хлеба собирать да упреки в спину получать! А сестре нашей куда податься? Может, к Мишке Шестипалому на сеновал за кусок хлеба? То, что принёс, я спрячу и передам твоему человеку, но более не искушай судьбу матери и малой ещё сестры, – сказал я, стараясь не говорить излишне резко, брату в обиду.

Николай помолчал немного, хлопнул ладонью меня по колену, согласился:

– Пожалуй, ты прав, брат мой. Слишком много может несчастья свалиться на мамины плечи, и так поседели виски. Быть по-твоему, на том и поставим точку. Хороший человек к тебе придёт. Помнишь, ещё при отце у нас сход был, из Осинок приходил смуглый, с рыжими усами...

– Что-то вспоминаю. Он ещё про войну с японцами рассказывал и на читке манифеста про землю спрашивал. Его звали Фрол Романович.

– Вот-вот, – обрадовался Николай. – Я оставлю тебе часть литературы, а главное занесу Кузьме Мигачёву, он сам просил об этом. И далее с вашими мужиками связь будем держать через кузнеца, но об этом никому ни слова, даже под пытками. Хорошо? Завтра увидишь, так передавай привет своей королеве Марго. Идём спать.

На следующий день, закончив пасти табун и пригнав его на подворье, я поспешил к церковной площади мимо чужих дворов, мимо садов в белом майском цвету, мимо желтоватых окон, из которых сквозь занавески пробивался свет керосиновых ламп. И вдруг возле дома Анны Леонтьевны услышал гневный голос Марийки:

– Убери руки, кому сказала! Ты для меня только тем и лучше других, что друг Никодима. А жениха я в тебе и не думала искать. Да и зачем тебе КАТОРЖАНСКАЯ НЕВЕСТА? – Марийка со злом сделала ударение на последних двух словах.

– Мария, я голову потерял, когда тебя увидел! Хочешь – завтра же пришлю сватов? Дай только согласие! Умоляю!

Я замер на месте, услышав эти торопливые признания Клим, почувствовал, как кровь подступила в голову: мог ждать от Клим чего угодно, только не такого пылкого объяснения!

– Иди домой, жених! – резко ответила Марийка. – Послушать тебя, так страх какой ты умный, аж не выговоришь. Попробуй заикнуться дома про сватовство с твоим отцом, с тебя на конюшне живо сначала снимут штаны, а потом и шкуру с того места, на котором ты сидишь, щи отцовские хлебая. Ну, иди, хватит спотыкаться у чужого порога, поздно уже. – В голосе Марийки я уловил нетерпение, граничащее с гневом, и тут же выступил из-за угла высокого забора вокруг дома.

Клим резко развернулся, сдвинул к переносью брови: ставни в доме Артюховых ещё не были закрыты, и свет от лампы падал на Марийку и Клим.

– Извини, Клим, – сказал я, подходя к ним поближе. – Не подслушивал, но всё слышал. Ты же видишь, что Марийка сердится на тебя. Оставь её. Не ровня мы вам, чтобы идти ей с тобой под венец. Сам должен понимать.

А Клим, не замечая того, по привычке шмыгнул носом, голову набычил, шагнул мне навстречу.

– Ты почему здесь? – тихо с угрозой спросил он, а меня будто кнутом ударили его хозяйские слова «почему», словно не человек я и не волен сам себе место выбирать, где и с кем разговаривать... Вскипела во мне злость, едва руку за спиной сдержал, ответил негромко, чтобы парни проходившие мимо не услышали:

– Коней ваших я загнал в стойло, Клим, но запомни раз и навсегда: я – не бык безмозглый, чтобы кто-то понукал мною вот так, словно скотом. Голову сворочу напрочь, понял? Хочешь что-то сказать – говори спокойно, услышу. И прошу тебя, не заводи свару между нами, оставь Марийку. Она тебе приглянулась на час, а мне нужна на всю жизнь. Да и не нам решать это, пусть сама выбор делает среди парней, может, и я ей так же не нужен. Неужели ты думаешь, что твой отец принародно будет жать руку свату-каторжанину? Да ни в жизнь!

Клим смерил меня злым взглядом, склонил голову, постоял недолго, словно раздумывая, ввязаться со мною в драку, скрипнул хромовыми сапогами и ушёл, только белая рубаха ещё видна была во тьме позднего вечера.

Я повернулся к Марийке и в тёмных её глазах увидел две отразившиеся луны. Марийка стояла всё так же, сцепив пальцы и прижав руки к груди. Боялась, что мы устроим драку у её дома. – Николай вчера из города приезжал. Тебе привет передавал, назвал какой-то королевой, похоже, как королевой Марией, – сказал я, пытаюсь вспомнить имя той королевы.

Марийка засмеялась и подсказала:

– Королевой Марго, наверно. Была такая во Франции, я читала. Спасибо Николаю за приветы, хороший он у вас парень. Не женился в городе?

– Нет, и вроде пока не собирается.

– Впрочем ты пришёл, иначе Клим без оплеухи от нашего крыльца не ушел бы. Руками уже было наладился лапоть.

Марийка стояла передо мной, чуть запрокинув голову навстречу ветерку со стороны реки и с улыбкой наблюдала за моим лицом. Что там творилось на моём лице, сам Бог не разобрал бы.

– Марийка, – чуть не заикаясь, заговорил я, – а ты не в обиде за те слова, которые я говорил Климу про нас с тобой? – спросил, и в душе стало холодно: как-то она сейчас распорядится моей судьбой? Я повернул Клима от её порога, а не повернёт ли она сейчас меня? Не будет ли в спину про себя смеяться над таким нелепым, как мне казалось, признанием?

– Нет, Никодимушка, – ответила Марийка полущёпотом, словно боялась, что мать услышит наш разговор через окно. Только на секунду опустила ресницы, а потом так ласково посмотрела на меня, что ноги вдруг обмякли почему-то, пришлось рукой опереться о спинку лавки на крыльце. – Ведь и я к тебе с детства присматривалась, сокол ты мой сизокрылый, единственный...

Марийка подошла ещё ближе, совсем близко, её руки легли мне на плечи, а как я очутился на скамейке рядом с нею, до сих пор вспомнить не могу. Говорят, что такое бывает во хмелю, не знаю, не напивался в жизни ни разу. Марийка голову преклонила к моей груди и тихо проговорила:

– Как вернутся наши отцы из ссылки, так и быть нашей свадьбе. – А у меня лёгкий звон в голове стоял всю ночь.

Рано поутру следующего дня, накануне Иоанна Богослова, было, как сейчас помню, удивительно солнечно и тихо. Выгонял табун со двора и уже садился на гнедого Орлика, я удивился, почему не видно Клима? Анфиса Кузьминична, закусив губы, поблёскивая золотыми серьгами, темнее грозовой тучи над степью. Ходила по двору.

– Анфиса Кузьминична, – задал вопрос я, – а Клим где? Уехал куда без меня?

– Лежит у себя, непутёвый! – ответила хозяйка, на ходу прибирая то брошенное с вечера конское ведро, то вилы у телеги с сеном, лежащие зубьями вверх.

– А что с ним? Заболел ли чем? – непроизвольно забеспокоился я о своём подопечном, слез с Орлика и направился к крыльцу.

– Мог бы и сам догадаться, что с ним, – проворчала Анфиса Кузьминична. – Сватов надумал засылать к учительской дочке, каторжанке. Отец ему в таких делах не потатчик, живо обвенчал с вожжами! – Хозяйка громыхнула пустым ведром, задев об угол бревенчатой клетки. – Чтоб её черти унесли! – ругнулась она, а я не мог сразу понять, кого, к её радости, должны были забрать черти на тот свет, но потом догадался, что она проклинала Марийку в бессильной злобе.

По высокому крыльцу поднялся в сенцы. Прошёл в комнату Клима, а он, одетый и в сапогах со вчерашнего ещё вечера, лежал на белом покрывале поверх одеяла, лицом вниз. Спина разрисована серыми полосами, которые хорошо были заметны на белой шёлковой рубашке.

– Кто? – глухо, в подушку, спросил Клим и пошевелил исполосованными лопатками.

– Я это. Ты, Клим, не держи на Марийку зла, она мне дала согласие на свадьбу, когда отцы из Сибири вернутся.

– Если вернутся, – буркнул Клим и бросил резко: – Уйди! – И опять уткнулся лицом в подушку, будто умер. А мне стало вдруг жалко его. Счастливые все, наверно, к чужому горю жалостливые. Знать и вправду пришлась ему Марийка по сердцу, не болтал про сватов вчера, да переломил его отец, через колено сломал напрочь.

Я потоптался в нерешительности у порога, а вечером, выждав, когда Анна Леонтьевна, добрая и сердечная украинка, ушла в сарай доить корову, вошёл в дом. Марийка удивилась, раньше я не осмеливался заходить в её комнату, боялся, что парни дразнить станут. Марийка спросила, не скрывая радости:

– Зашёл за мной? Я скоро соберусь.

– Нет, зашёл к тебе. – И достал из кармана слегка помятую газету. – Николай просил, чтобы ты прочитала мне. Это про Сибирь, где наши отцы.

Марийка взяла газету, развернула и стала читать.

– Отойди от света, не засти. – Потом потихоньку начала пересказывать, что там напечатано: – Заголовок «Ленская ревизия». Иркутск. Начальник иркутского губернского жандармского управления и порайонного охранного отделения полковник Познанский отстранён от должности и переведён в Самару. По слухам, подтасовка сведений, практиковавшаяся Познанским даже в донесениях Департаменту полиции, касалась не только частных лиц, но и офицеров корпуса жандармов и производилась им с исключительной целью выдвинуть свою личную деятельность на первый план. И Департамент полиции вынужден был в конце концов ликвидировать плодотворную деятельность Познанского в Иркутске и перевести эту жандармскую достопримечательность на более скромную должность – в Самару.

Марийка ещё что-то пробежала глазами молча, потом пояснила:

– Это напечатано в самарской газете «Волжское слово», а перепечатано из «Столичной молвы». По всей стране прославился главный самарский жандарм.

– Надо же! Так ударили по начальству! Не становой пристав там какой-то! – Увидел большой застеклённый шкаф с книгами, подошёл, открыл дверцу и потрогал руками несколько толстых книг. – Ты всё это уже прочитала? – спросил я в удивлении от одной только мысли, что такое вообще возможно.

– Почти всё. Правда, есть и такие, которых мне не понять, отложила до папиного возвращения. А тебе хочется читать книги, ты равнодушен к ним? – Марийка встала рядом, и я, будто ненароком, локтем прислонился к её руке.

– А о чём тут написано? Чудно, книги стоят, будто ровные обрезки толстых досок, только в красивых обложках.

– Это рассказы и пьесы Чехова, это повести Гоголя, стихи Пушкина, а эти, самые толстые, романы графа Льва Толстого. В книгах пишут о жизни, Никодимушка, какой она была давно и какая теперь есть.

– Что про неё писать, про жизнь-то? – пожал я плечами. – Вот она вся, как на ладони: епифановский двор, скотина, мой подопечный табун, жара в поле и холод у Игната Щукина в доме, с утра до ночи работа под матерщину Спиридона Митрофановича. Разве такое кто напишет, враз на каторгу отправят.

Марийка улынулась, хитро прищурила глаза.

– И про такое пишут, кто посмелее. Максим Горький, например, тоже в работниках с отрочества, бродяжничал по России много.

– Писать надо про то, чего на свете нет, но чего страсть как хочется. Прочитал бы, будто сам там побывал!

Марийка засмеялась, толкнула меня в бок плечом:

– На сказках бабушкиных вырос! И это хорошо. И такие книжки есть. Вот книжка про то, как из пушки выстрелили снарядом, а в нём учёные люди сидели. Снаряд облетел вокруг Луны и снова вернулся на Землю. Такого ещё не было, а написано интересно, словно там действительно люди летали.

Марийка тронула меня за рукав, позвала за собой:

– Садись рядом, я почитаю тебе про славного запорожского казака Тараса Бульбу. Потом всю книжку прочитаем, сейчас только одну страничку. Польские паны захватили старшего сына Остапа, решили при народе казнить его и товарищей. Тогда и решил старый Тарас увидеть сына перед смертью. Это из жизни, Никодим, из моей родины, давно это было.

Марийка присела к столу, полистала не очень толстую книгу и уже в конце остановилась.

– Вот слушай: «Толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса: „Ведут... ведут... казаки!“»

Я слушал Марийку, смотрел, как шевелились её красивые губы, а она всё увлекалась тем, что писали про поляков, как они кричали вслед казакам обидные слова, как плакали жалостливые, и я постепенно всё отчётливее и отчётливее начал представлять себе и врагов храброго Остапа, которые пытали его, не проронившего ни слова, и самого Остапа в изодранной окровавленной одежде, и Тараса Бульбу, который так же, молча, уставился глазами в землю. И мне уже стали слышны крики тех, кто его пытал, связанного Остапа. И будто даже треск костей различал за словами Марийки. Губы девушки шевелились всё быстрее и быстрее, сдвинулись к переносью чёрные нахмуренные брови, а у меня по рукам пошла холодная дрожь, когда истерзанный Остап, будто ко мне лично, обратился с места пытки страшными, стонущими от боли словами: «Батько! Где ты? Слышишь ли ты?» А старый Тарас, рискуя и сам попасть в руки врагов, всё же поддержал измученное сердце сына словом: «Слышу!»

Марийка устало прикрыла книжку, выдохнула и сказала:

– Столько раз перечитывала я это место, а не будь тебя сейчас рядом, снова разрыдалась бы. Вот как могут писать о жизни настоящие талантливые писатели. Тут ничего не пришлось выдумывать, одна правда показана.

– Ты прочитаешь мне всю эту книжку? – спросил я. И Марийка согласилась, пообещала, что мы непременно начнём учить алфавит и учиться читать самостоятельно. В комнату с ведром, накрытым чистым полотенцем, вошла Анна Леонтьевна, на моё приветствие улыбнулась и сказала:

– И тебе, Никодим, доброго вечера. Марийка, вижу, приохочивает тебя к книжкам. Надо, соколик, надо с книжками дружить, от них у людей светлеет в голове, поверь моему слову. – А потом бесшумно, боясь помешать нам рассматривать другие книги, занялась процеживанием молока по кувшинам, время от времени украдкой поглядывая в нашу сторону.

«Наверно, Марийка сказала ей, что мы дружим, потому и приветствует так приветливо», – подумал я, внезапно кровь прилила к голове, и я заторопился домой. Когда прощались на крыльце, Марийка снова пригласила меня:

– С сегодняшнего дня, Никодим, давай договоримся, как будет свободное время по вечерам, приходи к нам, будем учиться грамоте, читать и писать. Без этого по жизни трудно будет и далее идти. Отец твой порадуетя этому, когда воротится домой.

– Ладно, обязательно приду, – с радостью согласился я с необъяснимым волнением в груди, словно мне удалось узнать что-то большое, хорошее, очень нужное не только мне. И только спустя много лет я осознал, что это было проснувшееся чувство страсти к печатному слову, к книгам. Это чувство завладело мною полностью, до фанатизма, который я и ощущаю вот в эту счастливую пору. Только беды по-прежнему не оставляли нашу семью в покое. Примерно через месяц, так же ночью, как и при аресте отца, к нам нагрянул постаревший, всё такой же толстый пристав Глушков. Стражники перевернули нехитрый скарб в комнате, а пристав всё добивался от меня, топал ногами:

– Скажешь или нет, куда спрятал запрещённую литературу? Её тебе привозил брат. Найду – упеку на каторгу!

«Значит, Николай ещё куда-то ездил, а они думают, что домой заезжал и снова оставил здесь книжки», – догадался я, даже обрадовался, что пусть ищут здесь, а в другом месте всё будет в сохранности. А когда мне надоело повторять, что брат ничего запрещённого не привозил, пристав разъярился, глаза даже выпучил от злости:

– Люди верные видели, как он в дом тяжёлую котомку принёс!

– Ту городскую колбасу и буханки белого хлеба с баранками, что привозил брат, я уже перетаскал в отхожее место, – неожиданно вырвалось у меня. – Пошарьте лопатой, может, что и опознаете! – Шустрый рыжеволосый стражник, среднего роста, он постоянно что-то бормотал себе под нос, должно, проклиная бунтовщиков, из-за которых по ночам приходится не спать,

надумал было на ком-то сорвать свою злость и полез на меня грудью. Но я кулак выставил ему навстречу со словами:

– Во! Видел? Только тронь при понятых, размозжу башку о печку! Найдёте что, тогда ваша власть забирать, а руками трогать не смей! Знаю я вас, таких удалых молодцев!

– Искать везде, скотный двор переройте, а книжки должны быть! – Пристав даже ногами затопал так, что старенькие соседи-понятые в страхе отступили подальше к двери в сенцы.

Собрали шинелями всю паутину на чердаке, переворошили солому в овчарне, где у нас находились две овечки, переворошили всю рухлядь в тёмном чулане, а ответ один:

– Ни листка бумаги нет, ваше благородие!

– Ну смотри у меня, доухмыляешься, каторжанский выродок, – для острастки ругнулся пристав, покидая комнату, а я принялся успокаивать плачущую маму:

– Мама, ушли уже несолоно хлебавши. Чего же ты плачешь?

– Насодомили-то как, управы на них нет, – ответила она, а потом добавила: – Николая, чует моё сердце, возьмут следом за отцом.

И как в воду глядела, оказалась пророчицей. Николая через месяц арестовали за участие в забастовке и сослали в Туруханский край, куда-то в непроглядную глушь таёжную, только после Февральской революции и пришёл домой, но меня к тому времени уже дома не было, судьба мотала меня по фронтам Первой империалистической войны где-то в предгорьях Карпат.

И ещё один день из той, довоенной четырнадцатого года, жизни навечно остался в моей памяти. Была жатва и над хлебными делянками стояла жара. Ко Дню святого Ильи Пророка мы уже скосили хлеба нашего хозяина, и я пришёл на арендное поле дяди Демьяна, отцовского брата помочь ему. Своего арендного поля у нас не было, а единственный сын дяди Петро постоянно грудью надрывался в кашле – это после японского плена у него такая хворь приключилась. Наступил полдень, расположились обедать в тенёчке леса, недалеко от проезжей дороги на Бугульму, возле этого самого колодца, где потом бывшие «дружки» подкараулили меня. Тётка Алёна высокая и худая, принесла узелок с едой, поблизости другие семьи устроились, всяк себе выбрал тенистое дерево.

Я первым делом налил себе кружку холодной ряженки, начал осторожными глоточками пить, слышу – ругается дядя Демьян, сначала тихо, сквозь прокуренные усы, а потом его словно взорвало:

– А-а, так-перетак! Ведьмино отродие! Черти бы тебя чистили. – И раз! – бац недочищенное яйцо о колесо телеги! – Черти бы тебя чистили! – Два! И три! И четыре! И так весь десяток! Бабы от других телег сбежались, мужики животы надрывают в хохоте, а тётка Алёна ладонями глаза закрыла и посеменила прочь по скошенной делянке. Перебил дядя Демьян яйца и тут же успокоился, как ни в чём не бывало, взял кувшин, через край напился и ко мне с просьбой:

– Махорочку подбрось, Никодим.

– Вы же, дядя Демьян, и меня оставили без обеда. Давайте хоть травой колёса вытрем.

– Собаки оближут, пока косить будем. Ешь сало с хлебом и луком. Тётка нам сварила свежие яйца, их чистить – одна морока, скорлупки с мясом отдираются.

И тут справа от меня послышался стук колёс, потом донеслось поскрипывание, и на дороге показалась старенькая телега. Спереди, на поперечной доске, сидел бородатый незнакомый мужик в широкой домотканой рубахе навывпуск и в лаптях с белыми обмотками. Спной к нам, свесив ноги на ту сторону телеги, чуть сгорбив спину, сидел ещё кто-то в чёрном городском пиджаке и в помятой фетровой шляпе серого цвета. Телегу подкинуло на кочке и человек повернул голову на людские голоса. Блеснуло на солнце знакомое пенсне. А меня будто и не было рядом с дядей Демьяном.

– Анатолий Степанович! – закричал я что было сил, а потом ещё раз на всё поле: – Анатолий Степанович!..

– Ну-ну, сынок, что же теперь поделаешь, – спустя несколько минут, после торопливых приветствий, пытался утешить меня Анатолий Степанович, а я растянулся на придорожной лебедке, плакал и никак не мог успокоиться. – Отец твой сделал всё, что мог для других, погиб как настоящий русский мужик, собой пожертвовал, чтобы спасти незнакомых ему женщину и подростка. – Анатолий Степанович пытался поднять меня с земли за плечи, тут же вскоре прибежали дядя Демьян и другие односельчане, уложили меня на телегу.

И только поздно вечером я смог уже спокойнее выслушать то, о чём тогда у родника, сбивчиво и волнуясь, говорил мне Анатолий Степанович. Рядом со мной, в обнимку с Анной Леонтьевной, всё еще не выплакав всех слёз – она их долго ещё будет потом выплакивать – тихо рыдала мама. Ей вторила сестрѐнка Нина. Она даже не помнила отца. Ей и двух лет ещё не было, когда его увели среди ночи жандармы.

– Мы жили на поселении, – рассказывал Анатолий Степанович, изредка поправляя указательным пальцем пенсне, – в интересном по природе месте Зелѐная Падь. Большею частью там проживали старoverы с их суровым укладом, уже подсчитывали последние дни, которые оставалось прожить нам в ссылке, сговаривались про связи в будущем. А в последнее воскресенье будто злой рок толкнул нас напоследок сходить в лес, проверить охотничьи снасти. Мы в тайге зверя промышляли, шкуры меняли на хлеб и тем поддерживали слабых. В селение возвращались к вечеру. Иван первым заметил у крайнего дома дым под крышей, локтем разбил стекло, вырвал раму, полушубком укутал голову и в одну секунду был уже там, в густом дыму. Через пару минут он появился у окна с женщиной на руках, она была без сознания, угорела. – «Там ещё кто-то стонет», – только и успел я разобрать его слова сквозь удушливый кашель, наглотался там дыма. Я потащил женщину подальше от пожара на свежий воздух – тяжѐлая старoverка оказалась, едва я её за плечи приподнимал, волочил ногами по снегу. – «Держите, Анатолий Степанович!» – позвал меня Иван снова и перевесил через подоконник головой вниз мальчишку лет шести, в одной рубашке и в штанишках. Я подумал, что Иван тоже вылезет следом, понѐс мальчишку к женщине, как сзади вдруг что-то как затрещит! – Анатолий Степанович поперхнулся, ему сдавило горло спазмом, он принял от Марийки стакан с водой, сделал маленький глоток, глубоко вздохнул и продолжил свой страшный рассказ: – Я тут же бросил на снег мальчишку, его приняла какая-то местная прибежавшая женщина, метнулся к окну. А в лицо огнѐм полыхнуло: рухнула крыша. Прибежали к тому времени соседские мужики, схватили меня за руки, а я голову полушубком укрывал, чтобы лезть в огонь. Должно быть, в состоянии нервного срыва был в ту минуту. «Пустите меня, там Иван гибнет!» – кричал я, а они мне в ответ: «Ивана уже не спасти, всё обрушилось!» Не знаю, как случилось, но тут я потерял сознание. Очнулся от холода – мужики снегом натирали мне виски. Вот так это было, родные вы мои. А через неделю, не больше, пришла казѐнная бумага с предписанием куда кому ехать. Мне велено поселиться под надзор полиции в Вологодской губернии. Разрешили только за семьѐй заехать.

Не сразу до меня дошѐл смысл последних слов Анатолия Степановича, а когда дошѐл, то я испугался ещё одной в жизни страшной потери – Марийки.

– Как? Разве вы уедете отсюда? Я думал, что вы снова будете учителем у нас в селе. – Я говорил Анатолию Степановичу, а смотрел на Марийку, в её заплаканные глаза.

– Меня теперь и близко к школе не допустят. За версту повелят обходить, чтобы учеников не учил тому, что властям не угодно, – ответил Анатолий Степановичи и вскинул брови. – Не знаю, каким ремеслом теперь кормить буду семью, взяли бы хоть писарем в волостное правление.

– Папа, вы с мамой вдвоѐм поедете, а я остаюсь с Никодимом, – тихо проговорила Марийка, но так решительно, что Анатолий Степанович от неожиданности резко повернул к ней голову. Чуть пенсне не уронил. Моя мама при этих словах взяла Марийку за руку, погла-

дила по гладко причёсанным волосам и снова расплакалась. Анна Леонтьевна с другого боку притулилась к Марийке, тихо всхлинула, запричитала, приговаривая:

– Когда же ты решилась на это, доченька? Ох, господи, так сразу. – Посмотрела на меня с тревогой, словно в душу хотела заглянуть. – Ты уж не обижай её, Никодимушка, одна она у нас, одна на всём белом свете.

А я молчал, не находил слов, чтобы утешить её. Утешить горем убитую свою маму. Она так надеялась на скорое возвращение отца, что он со дня на день скрипнет калиткой и с улыбкой войдёт в дом...

Анатолий Степанович снял пенсне, прищурил светлые влажные глаза, возле которых в пучки собрались морщинки, посмотрел на дочь, словно хотел убедиться, что не ослышался, потом на меня, так и не проронившего ни слова. Вздохнул осторожно, будто опасался надорвать сердце.

– Надо же! Как быстро пролетело время. Мы с Иваном оставляли детей, а приехал я к взрослым, которые решили сами пожениться. Ну что же, я рад за вас. Коль решили быть вместе, так и держитесь неразлучно до конца века вашего. Мне твёрдо верится, что у вас всё будет ладно и в согласии, а потому и говорю: дай бог вам любви и мира в доме, а мы с матерью благословляем вас. – Анатолий Степанович не сдержал выступивших слёз, смахнул их ладонью. – Жалко, что Иван не дожил до этих счастливых дней, не порадуетя вашему счастью. А мы отбудем надзор на чужбине и снова приедем домой, внуков на руках баюкать и песенки колыбельные петь.

В скором времени была наша свадьба, скромная, по нашему достатку, и гости на ней были только соседи и родственники с обеих сторон, пришли поздравить молодых со своими подарками к столу, а когда я меньше всего ожидал этого, через открытую настежь дверь вошёл улыбающийся и в то же время явно смущённый Клим в новенькой белой рубаше навыпуск. На концах широкого небесного цвета пояса малиновые кисти. В левой руке Клим держал бутылку с водкой, а правой поклонился свадьбе до земли.

– Мир и счастье этому дому, а молодым вечной любви и согласия. Разрешите и мне, добрые люди, поздравить молодых с законным бракосочетанием, гостям поставить на стол угощение, жениху с невестой поднести скромные подарки. – Клим подошёл ко мне, протянул серебряный портсигар нарочито грубым голосом сказал: – Кури табак, Никодим, чтобы от тебя пахло настоящим мужиком. – Потом повернулся к Марийке – порозовели у него уши от волнения. Но вида не подаёт, крепится. – А невесте я дарю памятный перстенёк. – И Клим протянул Марийке – я видел, как заметно подрагивала его протянутая рука – дорогой перстень с двумя маленькими, словно капельки крови, красными камешками. Если бы я знал тогда, где придётся мне с этим перстнем встретиться через годы!

Но в ту минуту после спокойных слов Марийки: «Спасибо, очень красивый подарок» – я приветливо, от всей души пригласил Клима:

– Садись, Клим, будь гостем желанным за нашим столом. Живём не пышно, но про нас далеко слышно!

Клим взял два пустых стакана, налил водку до половины и подошёл к попу Афанасию, который перед свадьбой венчал нас в церкви.

– Никодим, подойди сюда, – волнуясь всё больше и больше, попросил Клим и, когда я подошёл к ним, обратился к попу: – Духовный отец, давно друзья мы с Никодимом, а теперь я хочу, чтобы святая церковь на веки вечные скрепила нашу братскую дружбу так, чтобы и дети наши тоже считались кровными братьями.

Клим вынул из кармана складной нож, открыл его и, чуть вздрогнув, резко чиркнул им по среднему пальцу левой руки.

– Пусть моя кровь очистится этой водкой от зависти и злой мысли, если бы таковая подступила к моему сердцу, – и он выдавил из пальца кровь сначала в один стакан, потом в другой.

Так же поступил и я, проделав это, скорее всего, машинально, под влиянием искренних взволнованных слов Клима, как мне казалось тогда, а не из такой уж любви к нему или желания побрататься с богатыми Епифановыми.

Поп Афанасий, уже изрядно подвыпивший, с квашеной капустой в бороде, раскачиваясь тощим телом над столом, прослезился и засопел растаявшим в тепле носом.

– Дети мои Христовы, сколь живу я на этом грешном свете, а такой братский союз скреплю во первый раз, сиречь до сего благословенного дня у нас такого не творилось. Да быть вам отныне и во веки веков, аки родными братьями Христовыми, неразлучно стоять вам заедино супротив врагов ваших, каменной стене подобно. Аминь. – Поп икнул и потянулся за стаканом со смородиновой наливкой, а мы с Климом под крики гостей троекратно поцеловались, выпили водку, красную от нашей крови.

Марийка тут же подошла к нами, как-то буднично, словно и вправду родного брата, поцеловала Клима в щёку, а у него снова кровью налились уши и толстая шея.

– Садись, побратим, рядом, – пригласил я, почти искренне веря, что и Клим теперь будет относиться к Марийке по-братски. Хотя в душе и сознавал, что от этого моя батрацкая доля у Епифанова вряд ли станет легче. Разве только старый хозяин не будет обсчитывать в День святого Кузьмы, когда он обычно производил расчёты с сезонными батраками. Расходясь по домам, те чуть ли не кляли жадного хозяина за то, что он снова их «подкузьмил» при расчёте.

Мы с Климом сели рядом за праздничным столом, гости дружно прокричали «Ура!» за здоровье молодых. До вечера пели песни, и уже затемно стали расходиться по домам.

А менее чем через два года грянула проклятушая империалистическая война и кинула меня в ужасный водоворот военных событий, выбраться из которого удалось только через шесть нелёгких лет. И с такими потерями!

Призывники

Обоз с призывниками притащился на призывной пункт в Бугульму, помнится, девятнадцатого июля. Расположились табором недалеко от управления Бугульминского уездного воинского начальства в одном из переулков, а площадь перед управлением была уже забита приезжими из ближних сёл. Волостной староста сдал списки, стали проходить медицинскую комиссию, всё шло спокойно и пока мирно. Были слёзы приехавших с нами родных, и моя мама и Марийка не отходили от меня ни на шаг. Были и слёзы радости – врачи забраковали Игната Щукина, велели ему возвращаться домой.

– Почему же так, ваше благородие? – не поверил было своему счастью Игнат, а главный доктор, толстенький и с отвислыми мешками под глазами, небрежно ответил:

– Малым вырос, рахит. В армию его императорского величества ниже двух аршин да двух с половиной вершков не берут. Вот его возьмём в гвардию. – И уставился толстыми очками в мою сторону. – Смотрите, каков великанище, да сила в нём видна изрядная!

Я же эти дни ходил, будто в полусне. Всё ещё не верилось, что вот наступит час, минута, когда за поворотом просёлочной дороги останется телега с мамой и Марийкой, а у неё на руках годовалый сынок Стёпа, а я уйду, быть может, навсегда, уйду от них по чьей-то злой воле, как ушёл от нас по воле жандармов мой отец!

– Непременно в гвардию! Такое чистое тело! – всё ворковал около меня доктор и языком причмокивал, будто сторговался с дешёвым батраком, как тот жадный поп с Балдой, про которого читала мне Марийка.

– Ну как? – спросили меня разом Клим и Наумов, когда я вышел на крыльцо врачебного пункта.

– Вроде берут в гвардию, в столице служить буду, – безразлично ответил я. Не успел оценить всей выгоды попасть в императорскую гвардию.

– Повезло тебе, Никодим, – с завистью сказал Сашка Барышев. – Повезло, на передовую в окопы не попадёшь. А мне куда в гвардию, среднего роста да ещё и тощему, словно вобла сушёная. – Он двумя пальцами провёл по впалым щекам. – Загонят в окопы, там мне и крышка! Под немецким снарядом. А то какой-нибудь верзила рыжий наподобие Григория, – он ткнул пальцем в живот Наумова, – прикладом в землю вколотит, как гвоздь в гнилую доску, одним ударом.

К вечеру, когда закончили осматривать наших односельчан и зачитали списки предполагаемого распределения, оказалось, что в гвардию я не попал.

– А я и не сомневался, что не попадётся, только заранее не стал волновать, – спокойно сказал Клим, когда вернулись к телегам. – Отец ссыльный, брат ссыльный тоже. Ты у жандармов давно в списках неблагонадёжных. А гвардия при царском дворе, это понимать надо. Там верные люди нужны.

– А ему не доверь-яют, получается? – заикаясь, переспросил Григорий Наумов и с прищуром уставился на Клима. Когда он говорил, то спотыкался на словах с буквой «р». Это у него случилось после того, как тонул в реке ещё маленьким, сильно испугался. Клим промолчал, только плечами пожал и ушёл к своим.

– Да чёрт с ними, – махнул я рукой. – Ещё лучше, может, рядом воевать будем. Свой всегда своему поможет. – А в душе, где-то в самой глубине, всё же притаилась обида: как за Родину воевать, так доверяют, а у царского дворца в караул поставить опасаются. Как бы чего царю не сделал!

– Жаль, братца Николая рядом нет, он растолковал бы, что за политика здесь происходит, – сказал я товарищам, прощаясь. Пора было к своим подойти и поговорить по душам.

С приближением вечерних сумерек после ужина на своей телеге мы с Григорием, прохаживаясь по забитым людьми улицам, заметили какое-то волнение среди призывников и их семей. Люди собирались большими группами, что-то тайком от посторонних глаз читали, о чём-то ещё негромко спорили, а мы с Григорием уловили несколько довольно громких выкриков:

– И вправду, мужики, другого времени не сыскали эти цари да императоры подраться, что ли? Тут страда в самом разгаре. Каждый день дорог. Кто же хлеб убирать с поля да молотить останется? Бабы да старики?

– Ну, загнул ты, Тимошка! Как это – бабы да старики? Посмотри, вокруг нас, защитников Отечества, сколько ещё откормленных «защитников» красуется на конях?

– Ты про стражников, что ли?

– А ты думал, что про псов бугульминских? Эти «защитники» наших баб от блуда охранять останутся, чтоб не разучились рожать.

Зло смеялись призывники над этими словами. Но обилие конных и пеших стражников удивило и меня.

– И вправду, чего их сюда столько нагнали? – спросил я сам себя, не видя ни пьянства поголовного, ни драк между разными группами из разных сёл, как это случается на Масленицу. Григорий ответил, оглядываясь по сторонам:

– Думается мне, Никодим, власти боятся бунта срь-еди нас, прь-изывников. Вон какая масса здорь-овых парь-ней собрь-алась, воинскую упрь-аву вмиг по брь-ёвнышкам могут рь-аскатать!

– Чего же нас бояться, не звери же мы дикие. Бояться надо немцев. Вот и послали бы стражников вместе с нами на фронт.

Григорий улыбнулся, хлопнул сухощавой ладонью меня по спине и, заикаясь, пояснил, что я веду бунтарские речи. Что стражники должны органы власти охранять не от наружного врага, как немцы и австрийцы или вечные наши враги турки, а от врага, который хитро спрятался внутри, от всяких там агитаторов, – как в церкви прояснял селянам поп Афанасий.

В конце длинной речи Григорий сделал в мою сторону неопределённый жест правой рукой, будто вместо этого пояснения горячее блюдо перед собой на пальцах протянул.

– Чудно, – пожал я плечами. – Нас здесь бояться, а посылают против врага наружного. Что-то чепуха получается.

Григорий наклонился в мою сторону и тихим голосом заговорил. Когда он вот так говорит негромко, перестаёт заикаться и только на каждом таком месте, делая над собой внутреннее усилие, часто вскидывает брови:

– Запретные листки стали появляться среди нас, призывников. Я часа два днём ходил по местному базару. Так там какой-то мастеровой, немолодой уже, с чёрными усищами пристал ко мне с разговорами: то да сё, как дома дела. Кто на хозяйстве остался, закурить попросил, я ему и говорю, что табак есть, бумажки нет. Он тут же мне и сунул в руки листок, а сам оглядывается по сторонам и говорит: «Возьми и прочитай, да другим дай послушать. Верные слова тут прописаны». Я листок в карман, а черноусый будто сквозь землю провалился, как ни шарил я глазами, но и малой ямки рядом не сыскал, только и запомнил усищи да карие глаза.

«Что-то знакомое в этом мастеровом», – подумал я, но мало ли на земле усатых и с карими глазами.

– Что в том листке прописано? – полюбопытствовал я, а сам опять вспомнил о Николае: «Вот так, наверно, и его кто-то приметил. Он листовки во время забастовки раздавал, а кто-то схватил за руку и крикнул жандарма!»

– Послушай, я с тем листком спрятался за чужим амбаром, несколько раз прочитал и запомнил стишок. Вот:

Трудно, братцы, нам живётся
На Руси святой.
Каждый шаг нам достаётся
Роковой борьбой.
Все народы до свободы
Добрались давно.
А у нас одни невзгоды
И темным-темно.

Мимо нас пробежало несколько крепко выпивших призывников, о чём-то громко спорили и размахивали руками. Григорий вовсе замолчал, а когда парни удалились за поворот улицы, в сторону церкви, снова зашептал почти на ухо:

Живо, братцы, принимайтесь
За дела скорей!
От оков освобождайтесь
И долой царей!

– А в конце там ещё было две строчки:

Ой, пора, пора народу
Добывать себе свободу.

Григорий умолк и внимательно посмотрел на меня, словно хотел узнать, какое впечатление произвело на меня это стихотворение.

– Смело писано, – согласился я. – Да как ты его «долой», когда за него армия, казаки, стражники и жандармы – вот какая силища! Ты нашим не показывал?

– Сашке Барышеву читал, ему понравилось, он оставил листок у себя. А Климу не показывал, хотя он и твой побратим названный. Да и ты ему не говори, от греха подальше. Постится щука, да зубы целы! Так и Клим этот, всё-таки он не нашего поля ягодка.

– Ладно, не скажу, – согласился я. Вдруг вспомнил, с какой неприязнью говорил Клим о моём отце и брате. Вроде бы даже порадовался, что я не попал в гвардию.

Возвращаясь на свою улицу, мы с Григорием попридержали шаг у чужих телег: в круге лихо под гармонь отплясывал рыжий и худой до страха мужичок. Загребая босыми ногами пыль, он вприсядку шёл по кругу, выбрасывая ноги по очереди, и подпевал себе озорные частушки:

Шла я лесом, шла дубравой,
Повстречался парень бравый.
Всё мигал мне глазками,
Улещал всё ласками...

С последними словами, под общий смех толпы, мужичок плюхнулся задом в пыль, крутнулся на месте и в изнеможении откинулся на спину, разбросав руки:

– Унесите меня, детушки, а то ещё плясать пойду!

Двое рослых парней подхватили его под руки и потащили к телеге, прочертив по земле пыльный след босых ног. В круг тут же вскочил другой танцор, мы не разглядели, кто, только донеслась новая припевка:

Шли мы лесом, шли дремучим,
А побирашки лежат кучей.

В тот вечер кабаки не закрывались долго, призывники гуляли последний день вольной жизни.

Утром, в День Ильи Пророка, когда мы сидели у своей телеги и завтракали, что было с собой взято в дорогу, Марийка вдруг привсталала с рядна и с тревогой посмотрела в сторону площади перед управлением уездного начальства.

– Что-то стряслось там, – забеспокоилась она. Поднялся и я на ноги. На площадь уже сошла огромная толпа народу, сновали босоногие мальчишки. Среди мужских фуражек больше было женских платков. Пыль поднялась в безветренном воздухе и едва не закрывала вид на здание управы. Над головами носились разноголосые выкрики.

– Гришка, бежим узнать, что приключилось, – позвал я товарища от соседней телеги.

– Может, отменили призыв на службу? – высказала тайную надежду мама и торопливо перекрестилась на церковный купол за площадью. В зелёных глазах, словно непросыхающие, две слезинки снова выкатились. – Господи, вразуми царей, чтобы не губили кормильцев наших, не сиротили детишек малых!

Протиснуться ближе к зданию управления нам не удалось. Настолько плотно стояли призывники и их родственники, возбуждённые и злые. На крашеном резном крыльце, явно испуганный, стоял высокий военный и едва успевал что-то записывать в толстую тетрадь, а крики неслись один за другим.

– Давай пособие семьям теперь же, нечего откладывать на потом! Забираете кормильцев в страду, давай пособие! – кричала недалеко от нас молодая женщина, вскидывая над головой загорелую руку, будто стучала в невидимую перед собой стеклянную дверь.

– Верна-а! – вторили ей другие голоса. – Мы детишек нарожали не для того, чтобы они животами пухли от голода! Давай пособие нынче же!

– Братцы, – долетел из-за спин толпы громкий мужской голос. – Война только началась, а спекулянты уже цену на хлеб подняли! Я только что из хлебной лавки. Смотрите, что творится – хлеб уже по восьми копеек за фунт! Мы идём воевать, а всякая сволочь будет здесь обдирать наших стариков и детишек?

– Долой войну, долой спекулянтов! Да здравствует мир между народами! – закричал впереди меня мужик, а Григорий тут же шепнул мне:

– Это он, тот самый мастеровой, только пиджак другой на нём.

Я присмотрелся внимательнее, и когда кричавший повернулся ко мне боком, чуть не закричал от радости! Да, это был Фрол Романович из села Осинки. Тот самый, что забирал у меня листовки, оставленные Николаем. Фрол Романов почувствовал на себе мой пристальный взгляд, а может, и видел меня вчера здесь среди призывников, обернулся ко мне полностью, дрогнули в улыбке усы, озорно подмигнул и отвернулся, пропал в толпе. А у меня под сердцем тепло стало, подумал: «А может, эти самые стихи он от Николая тогда получил, теперь вот людям по душе пришлись?»

Толпа вокруг продолжала бурлить весенним паводком, готовая снести любую перед собой плотину.

– Давай пособие!

– Отправляй на фронт стражников да жандармов!

– Верна! Мобилизуй толстомордых! Всех так всех, а не то мы и своих сынов не отпустим!

– Успокойтесь, ради бога! – призывал толпу военный начальник. – Сегодня же или с утра завтра выдадим пособие солдаткам, на каждого едока выдадим по норме, не обидим. А стражниками я не ведаю, на то есть исправник. Идите к исправнику, с ним и беседуйте про стражников, – счёл он за лучшее торопливо исчезнуть за дверью управы, возле которой по-

прежнему стояли попарно четыре солдата с винтовками при штыках и настороженно следили за призывниками.

– И то верно, братцы. Тряхнём стражников! Тряхнём полицию!

– На исправника!

– Долой жандармов!

– Долой войну! Долой полицию!

– Под ружьё буржуев! Мир хижинам, война дворцам!

Лавина людей подхватила нас, будто безропотных котят, и понесла по улице, к каменному двухэтажному дому полицейского управления. По пути призывники выдёргивали из плетней колья, подбирали комья засохшей земли, куски битого красного кирпича, сваленного неподалёку от церкви.

– Никодим, дерь-жись поближе ко мне! – закричал слева Григорий, и я с трудом протиснулся к нему.

– Похоже, что народ совсем озверел от злости, натворят теперь дел, никаким ведром воды не остудить! – прокричал я Григорию, а он с широкой улыбкой смотрел на толпу, пригладил растрёпанный рыжий чуб и засмеялся:

– А может, и впрь-авду прь-ишла порь-а нарь-оду добывать себе свободу, как в той песне, а?

Я смотрел то в его серые возбуждённые глаза, то на бегущую мимо нас неистовую толпу людей, удержать которую, казалось мне, ничто уже не сможет.

– Погромят всё вокруг, – забеспокоился я, – не натворили бы кровопролития!

Мы прижались к чужому забору. Я не видел, как стражники встали цепью перед полицейским управлением, только уловил далёкий крик:

– Круши гадов! Кру-ши-и! – А через несколько секунд в той стороне, как летний раскат грома, треск, потом ещё. Толпа разом смолкла, а над ней повис дикий, будто предсмертный, крик:

– Уби-и-ли! – И крик этот испугал людей, наверно, больше, чем сами выстрелы. Толпа по инерции ещё некоторое время неспешно двигалась в сторону полицейского управления, потом замерла на месте, дрогнула и густо покатила назад, растекаясь по соседним улицам и переулкам, а за спинами бегущих нарастал конский топот, крики дерущихся. Призывники отбивались палками, камнями, выкручивали из плетней колья, жерди.

Через время мимо нас – благо что мы вовремя перескочили на другую сторону забора – возвратились конные стражники, а потом в сторону земской больницы провезли на телеге несколько призывников, похоже раненные, а над одним из них, надрываясь, голосила пожилая крестьянка в старых лаптях на босу ногу.

– Должно быть, насмерь-ть его побили, и на фронте не был, а побитым стал, – сказал Григорий. – Вот так порь-аботали «защитники» отечества.

– Им тоже досталось крепко, – ответил я: у многих конных стражников побиты головы, руки...

Вечером, когда в городе всё утихло, я пересказал своим, что мы видели совсем вблизи.

– Это всё работа агитаторов против войны, – сплюнул под телегу Клим. – А мне кажется, что в этом деле протеста они ни черта не смыслят, эти студенты, умнее царя и министров хотят быть. Если немцы полезли на нас, значит, надо их бить, вот и вся тут политика. Мало нам позора пришлось терпеть от японцев. А так, чего доброго, снова всякая немчура да турки нам на голову сядут и Москву заново пожгут. Не-ет, – протянул Клим, – дулю им под нос, за русскую честь есть ещё кому постоять.

– Стойте, стойте, – тихо, будто никому конкретно, проговорила Марийка. – Может, вам крестики на грудь повесят, а может, деревянные над могилками поставят где-нибудь на берегах

важного богатым купцам пролива Дарданеллы. Только родным от этого легче не станет, только жизнь в стране от разрухи лучше не будет, вот в чём горе людское.

Да, действительно, впереди оказалась долгая тёмная ночь неизвестности. Мы повесили головы от тоски предстоящей разлуки, а через несколько дней на нас надели серые шинели, перетянули тугими брезентовыми ремнями, научили нас маршировать, петь строевую песенку про соловья-пташечку, показали на соломенных чучелах, как колоть штыком противника. И тронулся наш воинский эшелон далеко на запад, в неведомые нам прежде края. Думал ли я тогда, осенью четырнадцатого года, что оставляю мать, жену и сына Стёпушку на долгие годы, на жуткие годы страданий и крови? Нет, не думал. Офицеры говорили нам, что побьём немцев и их союзников-австрийцев быстро, к Рождеству Христову непременно вернёмся по домам.

Да судьбе угодно было распорядиться совсем по-иному.

Белый водоворот

Это был ужасный, холодный день, хотя подобных дней уже пережили мы немало, кошмарных и жутких: тысячами гибли солдаты ни за понюшку табаку, но зато с воинственными криками: «За веру, царя и Отечество!»

В то утро ещё с ночи моросил дождь. Дул противный «столичный», как мы его называли, северный ветер, и вода бежала у нас по спинному желобку. Не согревала больше мокрая задубевшая шинель. Липли к телу мокрые грязные брюки. Наступали мы под дождём, а немцы в упор расстреливали нас из пулемётов. Падали вокруг меня серые шинели на грудь или, согнувшись, на бок. Или на спину, раскинув руки. Как сейчас помню, бежал рядом со мной Митька Брагин, самарский парень из рабочих. Страх, какой рябой! Бежал Митька сначала впереди меня, мокрую винтовку вперёд штыком выставил. Все кричат: «Ура!», а он матом погоду кроет, скользит старенькими изношенными сапогами по мокрой глине и кроет на чём свет стоит немцев, своих и весь этот слякотный мир.

Когда я догнал его, он вдруг повернул рябое лицо и прокричал:

– Никодим, куды бегим?

– К чёрту прямо в пасть! – отозвался я, с трудом уже отрывая пудовые сапоги от развороченной снарядами красной глины.

– Точно туда нас и направили! – подхватил Митька. – Славно помереть в день поминовения на бранном поле! Ведь нынче моя, Дмитриева, суббота! – Митька снова крепко выругался, прибавил бегу, чтобы не отставать от меня. А впереди наш щуплый поручик, ротный командир, на разбитой снарядами колючей проволоке уже повис, сложился вдвое, а левой рукой держал почему-то фуражку кокардой вниз, почти до грязи.

И тут немцы ударили из тяжёлых гаубиц. Рванулась земля рядом со мной в тёмное от туч небо, меня, будто пушинку невесомую, кинуло в старую воронку с грязной лужей на дне. Плюхнулся я поперёк этой лужи, Бога не успел поблагодарить, что осколки мимо просвистели, жив остался, а Митьку подняло вверх, да так, что и падать было нечему, только и шлёпнулся неподалёку разбитый в щепки приклад винтовки.

Не помню, как выбрался, оглушённый, из ямы, когда поднялся – бежали наши назад, но не так густо, как перед этим бежали в атаку. По перепаханному полю часто, как снопы высокой ржи по жнивью, повсюду были видны серые бугорки – солдатские тела. И я побежал, не слыша шлёпанья собственных сапог по грязи, побежал следом, а потом и впереди многих: у меня ноги длиннее и крепче оказались.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.